

И
Л

И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ральф Эллисон
**Король
американского
ЛОТО**

Ральф Эллисон • Король американского лото





ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ralph Ellison

Ральф Эллисон

Король американского лото

Рассказы

Перевод с английского

*Составление и предисловие
М. Ландора*

Москва
«Известия»
1985

И (Амер)
Э46

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент А. Зверев

Художники Л. Бельский и В. Потапов

© Составление, предисловие, перевод на русский язык, оформление издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1985

Рассказы долгого дыхания

В 1955 году, говоря о даровитых писателях-неграх, Фолкнер решительно выделил два имени: Ричарда Райта и Ральфа Эллисона. У обоих он нашел «очень сильный талант», а у Эллисона еще и внутреннюю свободу, без которой талант не может развиваться. И эта свобода художника, не скованного одной темой, для Фолкнера была особенно удивительна. Ведь неграм в Штатах приходится нести «страшное бремя», такого постоянного давления не испытывают белые — им не напоминают то и дело о цвете их кожи и социальном положении.

Удивительное в Эллисоне тут, однако, только начинается.

Название его романа «Невидимка» (1952) стало нарицательным. Молодой герой этой книги, интеллигент-негр с его трагикомическими и горькими скитаниями по Югу и Северу, не существует для белых как личность и словно невидим. Но он представляет и тех белых, которых общество стремится подогнать под свой шаблон, в которых не признает личности технотронная цивилизация. Это давление в буржуазной Америке наших дней не знает расовых границ — и именно писатель-негр, с его обостренной веками угнетения жадой индивидуальности, должен был встать на ее защиту. Это было ново, но и характерно для послевоенного периода: посланец национального меньшинства, Эллисон раньше других получил признание как всеамериканский писатель.

И в то же время после «Сына Америки» (1940) Ричарда Райта не было такого глубокого и насыщенного романа о жизни черного меньшинства, как «Невидимка».

Задолго до «негритянской революции» Эллисон вылепил полярные фигуры, которым последующие десятилетия национальной жизни придали остроты и реальности: просве-

щенный приспособленец, ректор негритянского колледжа Бледсоу — и проповедник-экстремист Рас, с его пылкими и отчаянными речами в Гарлеме о «маме Африке», с его самоубийственной жадой разрушения. Уже эти персонажи дают понять, что роман мог «расти» в последующие десятилетия споров и потрясений, становясь общезначимым для страны.

Откровенная и смелая трактовка жизни угнетенного народа в «Невидимке» поначалу вызвала и полемические отклики. Не один негритянский литератор, вместе с видным романистом Джоном Киллензом, мог размашисто ее отвергнуть, чтобы принять потом, когда роман открылся им с дистанции времени. Впрочем, большого поэта-ветерана Ленгстона Хьюза, чьи стихи о Гарлеме Эллисон читал еще в школе, эта трактовка не смутила и тогда: он поддержал книгу. Как бы то ни было, «Невидимка» уже широко признан в 60-е по всей стране, в нем видят значительный американский роман XX века. И в пору подъема движения за гражданские права Эллисон воспринимается как представитель самых широких кругов черной Америки, чуждый экстремизма. Роберт Пенн Уоррен взял у него тогда известное интервью для своей книги «Кто говорит от имени негров?» (1965).

Все больший интерес вызывает и его малая проза. Составители антологий давно облюбовали три его наиболее хрестоматийных рассказа, предшествовавших роману: «Лечу домой» (1944), «Король американского лото» (1944) и «Баталия» (1947). Теперь в антологиях находится место и для менее заметных его вещей — и ранних, и поздних.

О формировавших его впечатлениях, о своем пути в литературу Эллисон рассказал в своем выступлении «Скрытое имя, нелегкий удел» (1964), заключающем наш сборник. Мы здесь коснемся лишь некоторых моментов его духовного пути, дополняя рассказ автора.

В биографии Эллисона, перепробовавшего множество дел и занятий, есть и нечто привычное для американского писателя, тем более — поколения кризиса. Этот уроженец Ок-

лахомы собирал бутылки для подпольных самогонщиков и близко узнал жизнь «дна», чистил ботинки, служил офицером, был профессиональным фотографом и музыкантом джаза. Но есть и совсем непривычное: это ранняя причастность к миру культуры и внутренняя устремленность к творчеству. Эллисон вырос не на кондовом Юге, а в Оклахоме с чертами фронта. Имя поэта-философа Ральфа Уолдо Эмерсона, в честь которого он был назван отцом, там знали и негры, а среди учителей будущего писателя были и белые — энтузиасты с Севера. В юности Эллисон изучал музыку и скульптуру, что воспитало у него творческую дисциплину и чувство формы.

В эссе «Скрытое имя...» воссоздана и атмосфера левой культуры, поразившая молодого писателя в Нью-Йорке. Все тут оказывалось вместе и рядом: борьба за спасение жертв южного расизма и гражданская война в Испании, вдохновляющая проза Мальро и близкий пример Райта. Горизонты Эллисона раздвинулись, началась насыщенная пора писательского становления. С 1938-го по 1942-й, сблизившись с Р. Райтом, он активно сотрудничал в «Нью Мэссис». Обратим внимание на даты публикации в журнале двух его опытов, вошедших в наш сборник: «Мистер Туссан» — 4 ноября 1941, «Вот такие дела» — 20 октября 1942. Война в разгаре, и Эллисон скоро станет ее участником. А пока он печатает в журнале органичные и важные для себя вещи, в которых выразились его настроения и устремления этой поры.

«Мистер Туссан» вошел в одну из антологий негритянского рассказа. Составителя эта ранняя вещь привлекла свежестью, с какой изображена тут «первая встреча черного мальчугана с историей черных». А очерк 1942 года перепечатал сам Эллисон вместе со своими статьями. Антифашистское чувство сочетается в нем с тревогой за тех, кто были и остались нуждающимися в Гарлеме. В очерке жива память о бедах времен кризиса, выселение происходит там уже в войну. Эти давние и недавние впечатления от обглоданного Гарлема ведут к сцене выселения в «Неви-

димке» — одному из самых выношенных и сильных образов прозы, подсказанных кризисом 30-х годов.

На глазах у героя там вываливают прямо на улицу все, что скопила старая негритянская чета за долгую жизнь. Идет тщательное описание предметов — гротескная «полнота объекта» и производит тут впечатление. В Гарлеме нам открывается, вместе с теплом прожитой жизни, срез всей негритянской истории. Среди скарба есть маленький флажок Эфиопии и пожелтевшая бумага, удостоверяющая, что раба такого-то хозяин отпускает на волю.

Пора писательского становления, пережитая в левых кругах, отозвалась во всем дальнейшем творчестве Эллисона. И прежде всего — в его рассказах 1944 года.

Заметим, что уже в малой прозе времен войны у Эллисона сталкиваются те же два настроения и линии мысли, что и в самых поздних вещах. И сотрудника «Нью Мэссис» волновала прежде всего судьба негров в Америке. После сельского Юга и Гарлема негритянский удел нередко воспринимался им как безысходно горький и неизменный. Жестокая реальность расизма заставляла усомниться, насколько возможно освобождение. Пессимистическая оценка ситуации и предопределила восприимчивость Эллисона к экзистенциализму. Позднее, в «Невидимке», начатом в 1945-м и завершившемся в годы общественного оцепенения, при Маккарти, особенно сказалось это умонастроение, характерное для западной интеллигенции. Оно окрасило до некоторой степени и трактовку негритянского мира в этом романе, где существование героя в обществе белых представлено как абсурдное. По словам Эллисона, сказанным в 1961-м, книга «стала бы лучше», если бы в ней полнее был освещен народный негритянский характер с его стойкостью.

И эта точная самокритика не случайна. Ибо писателя не покидало «эмерсоновское» начало, тяга к душевному свету, заряд этической энергии. Без пафоса независимой личности, помнящей прошлое и стремящейся себя создать вопреки навязываемым извне стереотипам, нет его мира. Этот мир немислим и без жажды освобождения: недаром у маль-

чишек из «Мистера Туссана» история героя пробудила все ресурсы фантазии и словесной изобретательности. Мало кто с таким убеждением, как Эллисон, говорил о силе и достоинстве негров, которым общество вечно говорит «нет», и их оригинальном вкладе в американскую культуру. С этой линией мысли связаны и литературные взгляды Эллисона.

Окруженный славой, он стал «бродячим» профессором, почетным лектором и в Штатах, и за границей. И это вполне обычно для видных писателей послевоенного периода. Но совсем не обычно, подлинная новость, что Эллисон три года вел в Бард Колледже курсы и русской, и американской литературы. И его мнения о классике тем более интересны, что за ними чувствуются нравственные поиски писателя, его раздумья о меняющейся Америке и мире.

Из «Скрытого имени...» мы узнаем, что американский роман со времен Мелвилла и Твена, в его восприятии,— критический по преимуществу и полный моральной тревоги. А в XX веке ему близки Райт и Фолкнер, унаследовавшие от Твена широту подхода к американской жизни — и моральную задачу. Насколько Эллисон близок к Фолкнеру, видно по сказанным им в другой раз словам, объясняющим, почему так поздно пришло признание на родине к автору сборника «Сойди, Моисей»: «Нет сомнения, что его волновали как южанина и художника вопросы, от которых большинство белых американцев после Гражданской войны стремилось увернуться». Заметим еще, что Эллисон начинал как рассказчик в ту пору, когда сборники рассказов выпускали и Райт («Дети дяди Тома»), и Фолкнер.

И в его замечаниях о русской прозе неизменно открывается что-то духовно насущное. Писатель XX века утверждает, например, что фольклор — основа литературы, и вот его веский аргумент: «Герой «Записок из подполья» Достоевского и герой гоголевской «Шинели» в рудиментарной форме появляются еще в русском фольклоре». Или размышляет об Америке последних десятилетий, где границы между

классами стали подвижны или неосязаемы, а социальные полюса, с отвечающим каждому из них образом жизни, сохранились. Тут уместно обратиться к Достоевскому или даже Толстому: «У таких писателей можно научиться исследовать богатые художественные возможности, заключающиеся в сопоставлении крестьянского сознания с аристократическим — и наоборот». В той же напечатанной в 1974 году беседе с романистом Джоном Херси, откуда взяты эти слова, Эллисон вспоминал, как заинтересованно он читал Горького. Не то чтобы представлял себе его героев неграми, но искал «эквиваленты опыту», что изображает Горький, «эквиваленты речевым оборотам, параболам и пословицам в той или другой известной мне среде». В более раннем интервью, оглядываясь на свое чтение в годы становления, Эллисон назвал одним духом «Маркса, Горького, Шолохова и Исаака Бабеля». Отметим и тут, что в орбиту его внимания попал русский рассказ — от «Шинели» до миниатюр «Конармии». И это, как у его американских современников, была малая форма, открытая истории.

Со времен Э. По и поныне западные рассказчики нередко противопоставляют малый жанр большому. Так поступали и наши современники, англичане Э. Боуэн и В. С. Притчетт, работавшие в обоих жанрах и воспринимавшие их как антиподы. Что же до Эллисона, он редко берется за малую прозу без мысли о романе. У него она — то важная, даже ключевая глава большой работы, то этюд к этой работе или «отросток» от нее. Его привлекает хемингуэзовское искусство диалога и подтекста, но больше — фолкноровский рассказ, мощный «кусочек жизни». В малой прозе Эллисона, как и Фолкнера, сочетаются разные художественные стихии и манеры: ужасы современной «готики» и фарс, психологизм и техника кино. Главное же — в них широко входит американский мир в прошлом и настоящем, поэтому к ним идут слова, обычно относимые к роману: это рассказы долгого дыхания.

Одна из самых хрестоматийных вещей Эллисона, «Лечу домой», словно заключает в себе роман. Ситуация тут

вполне прозрачна: на пути летчика и в небе и на земле оказываются стервятники; замшелый расист из Алабамы, на чью землю он падает после аварии, не уступит жирным канюкам. Летчика, рвущегося в бой, не пускают в полет, и «дома», на Юге, он оказывается лицом к лицу со своим унижением. Эллисон вспоминал, что немало слышался от знакомых негров о повседневных обидах в армии, рассказ впитал эту горечь обид.

Но нам открывается много больше, и недаром автор думал развернуть историю летчика в роман. Ибо падает герой с небес Американской Мечты. К ней поворачивает и финал, когда канюк, позолоченный солнцем, кажется жар-птицей. А на земле беспокойство летчика из XX века усиливает благодушно-насмешливый старик арендатор с неподвижного Юга, из «остановившегося» времени. Его насмешки не пропустишь мимо ушей, это и внутренний голос летчика, которому цепкий Юг не дает самолета, не дает ощутить себя личностью. Но и здесь возможно человеческое понимание; и этот поворот есть в рассказе.

Он вполне допускает продолжение. Рядом с ним «Король американского лото» куда более новеллистичен. Весь мир концентрируется здесь в одном эпизоде с естественным поворотом от обыденного к символу. Безработный на сцене кинотеатра ощущает себя королем: время его лихорадочного торжества растягивается, становясь соизмеримым с его жизнью сплошных проигрышей. И все — в сопровождении южных страхов, перекочевавших на Север, и дикой комедии, разыгрываемой залом.

И в «Баталии» есть своя завершенность: она осталась характерно американской новеллой и войдя главой в роман. И здесь реальность сгущена до символа — властного внушения Юга. Герою-простаку, дравшемуся с одноклассниками вслепую на потеху белым «отцам города», даровано свое бредовое торжество: он увлекает ту же публику школьной выпускной речью, проникнутой духом послушания. Окрашено это торжество уже не горькой иронией, как в истории Короля, а сарказмом: аплодисменты

зала особенно эффективны после прошедших перед нами сцен «шоковой» терапии. Южное воспитание добивается своей цели: герой и произносит речь вопреки всему — своему расквашенному лицу, гогочущему залу, голому танцу, отражающему и предваряющему страхи негров-подростков.

Иной поэтический мир, сохранивший отпечаток твенновской вольницы, раскрывают рассказы Эллисона о детстве. Игры и забавные разговоры мальчишек могут напомнить тут о Томе и Геке, а ранняя встреча со «взрослой» жизнью — о хемингуэевском Нике Адамсе. Но и знакомое предстает тут как резко своеобразное: во всем сказывается негритянское сообщество, с его нравами и понятиями, с его сочным и свежим словом, полным юмористических сравнений-гипербол. Порою у Эллисона возвращается американское прошлое, пора, когда «движущиеся картины» еще вызывали живые толки, как диковинка. В этом рассказе («Крышу поднимешь — увидишь людей», 1960) появляется и священник Хикман, воспитатель юного героя, одна из самобытных и сильных негритянских натур у Эллисона.

В «Радостных днях июня» (1965) этот священник-«возрожденец» из лесного края выходит на первый план. Автор освещает здесь далекие истоки жизни своего народа — и в то же время вплотную приближается к современности. Ибо это рассказ-воспоминание о старой проповеди, заново пережитой в сегодняшнем сознании. Проповедь драматическая (словно инсценируется вся история черных в Америке) и неутешающая: до подлинного освобождения еще далеко. Но под ударением здесь — достоинство негритянского народа, его вера в себя, презрение к насмешкам белых. Рассказ захватывает ритмом — слово Хикмана находит отклик, ему отвечает многоголосая толпа. Нам открываются в этом «взгляде назад» размышления Эллисона, современника Мартина Лютера Кинга, и позиция писателя в пору борьбы за гражданские права.

Иначе встретились прошлое с настоящим в повести-

притче «Из больничной палаты — в подвалы пивной» (1963). Это по-своему самостоятельный отрывок о Невидимке, не вошедший в роман; он держится, по справедливым словам Эллисона, «на своих ногах», не нуждаясь в подпорах романа. Опубликовав его в сборнике памяти Ричарда Райта, писатель придал ему и программное значение.

Герой представлен здесь рабом технологического века; потеряв память, он оказывается в больнице в стеклянном ящике — и все тем же невидимкой: приборы вместе с состоящим при них персоналом в упор «не видят» его черного кулака. В конце повести происходит избавление героя из «машинного» плена, на первом плане тут действие, порою в лихорадочном темпе погони. Но вечно ощутимо и иносказание, привычное в американской прозе после Мелвилла и Крейна: от технологических чудес, «не видящих» живой индивидуальности, до трагикомического бунта героя против этой новейшей неволи, до смиренной рубашки, с которой идет охота на беглеца. Путешествие героя по больнице загадочной аппаратуры и полной стерильности идет словно в бреду — или словно в потустороннем мире. И в то же время повесть полна тонкой иронии, есть в ней и фарсовые сцены. На пути героя — живые голоса, живые люди; пленник машин куда больший пария, чем встреченные им бедолаги негры, и к тому же они — из жизни, от которой отвык обитатель стеклянного ящика.

А помогает его возвращению к людям добрая старуха Мэри, чьи колоритные речи мы слышим в начале повести. Эту стойкую и языкастую героиню выделяет и Эллисон: он призывает читателя во вступительной заметке подумать, чем были бы американские негры «без таких вот Мэри в наших все растущих и разбухающих Гарлемах». За этой фигурой — пережитые неграми века, тот воздух американской истории, который придает ощущение простора и малой прозе Эллисона.

М. Ландор

Лечу домой

Когда Тодд пришел в себя, он увидел два плавающих над ним лица в ореоле пылающего и слепящего солнца, непонятно — белых или черных. Он шевельнулся, и боль ожгла его, словно он был выложен нагишом на солнце, сверкавшее прямо в глаза. На мгновение его охватил привычный страх — что белые руки касаются его. Потом острота боли понемногу прояснила сознание. До него дошли смутные звуки. *Он очнулся. Кто это? — подумал он. Не, не очнулся. Я готов был поклясться, что это белый.* Потом он услышал ясно:

— Сильно расшибся?

И внутри сразу отпустило. Говорил негр.

— Он еще не в себе, — услышал он.

— Не сразу... Сынок, сильно расшибся?

А кто знает? Боль ужасная. Он лежал напрягшись, слышал их дыхание и пытался уяснить связь между ними и собой, немощно простертым на земле. Он присматривался к ним, а мысль шла назад, дорогой боли. Обрывистые картины, быстро, как в рекламном ролике, сменяясь, затопили сознание, и он видел, как выводит из штопора самолет, как садится, как выпадает из кабины и пытается встать на ноги. Потом в какой-то звонкой тишине он вспомнил звук хрустнувшей кости, и теперь, когда он лежит навзничь на этом поле и видит над собой встревоженные лица старика негра и мальчика, ему расхотелось вспоминать.

— Как ты, сынок?

Тодд помедлил, словно ответить означало признать неприемлемую слабость. Потом сказал: — Лодыжка.

— Какая?

— Левая.

Будто издалека видел он, как старик нагнулся, снял с его ноги ботинок, — теперь не так жало.

— Так легче?

— Гораздо. Спасибо.

Было такое чувство, словно речь идет о ком-то другом, а его самого занимает нечто бесконечно важное, чего он никак не мог вспомнить.

— Ты сильно ее поломал,— сказал старик.— Нужно нести тебя к доктору.

Да, это был самый настоящий штопор. Он посмотрел на часы: сколько времени я здесь? Из всего на свете сейчас самое важное — доставить самолет на аэродром, прежде чем начальство успеет выразить свое недовольство.

— Помоги мне,— сказал он,— подняться в самолет.

— Куда с такой ногой...

— Дай руку!

— Сынок!

Ухватив старика за руку, он подтянулся, держа на отлете левую ногу, и с мыслью: «Ему никогда меня не понять» — поднялся вровень с гладким кожаным лицом.

— Ну, проверим.

Он оттолкнул старика, требовательно вскрикнула птица. Перед глазами поплыло, он качнулся. Накатила тьма, без конца и края.

— Ты лучше сядь.

— Ничего, все нормально.

— Нет, сынок, ты только сделаешь хуже...

Все его существо протестующе кричало, опровергая даже нылающую боль в лодыжке. Он должен попробовать еще раз.

— Не беспокоить бы тебе лодыжку, а то как бы ногу не отрезали,— услышал он.

Задержав дыхание, он попробовал еще раз. Боль была такая, что он прикусил губу, чтобы не закричать, и в приступе отчаяния не возражал, когда они помогли ему опуститься на землю.

— Лучше тебе не дергаться. Мы доставим тебя к врачу.

Какое невезение, подумал он. Какое дьявольское невезение, чтобы именно теперь это случилось. Пары высокооктанового бензина липко обволакивали, раздражали.

— Мы можем отвезти его в город на старом Неде,— сказал мальчик.

На каком Неде? Повернув голову, он увидел, что мальчик тычет в воловью упряжку, пасшуюся на краю поля, где конец борозды был отмечен зарывшимся в землю лезвием плуга. Быстро промелькнули в сознании картины унижения: как он едет на воле сквозь город по улицам, заполненным белыми лицами, по бетонным взлетно-посадочным полосам аэродрома. Острой болью отозвалось недавнее письмо от его девушки. «Тодд,— писала она,— я и без газет знала, что ты способен научиться летать. И я всегда знала, что в смелости ты не уступишь никому другому. Газеты меня бесят. Неужели тебе нужны бесконечные доказательства, что ты смелый и умелый, уже потому, Тодд, что ты черный? Я думаю, они подсовывают вам эту битую карту, потому что не хотят сказать, отчего вы еще не сражаетесь. Все это страшно огорчает меня, Тодд. Любой сообразительный парень может научиться летать. За чем же тогда дело стало? Почему тогда не использовать это умение? И в чьих интересах ты собираешься использовать его? Мне хочется, чтобы ты написал мне об этом, дорогой. Иногда мне кажется, что нас разыгрывают. Это очень унижительно...» Он стер с лица холодный пот. Что она знает об унижении? Она в жизни не была здесь, на Юге. Унижение начнется лишь теперь, когда будешь вынужден выслушать их приговор, зная, что твои ошибки не спишут только на твой счет, но поставят в вину всему твоему народу. Вот где унижение. И еще: что никогда не можешь быть самим собой — ты всегда одна плоть с этим черным невежественным стариком. Хотя он хороший старик. Славный и добрый, услужливый. Но он — не ты. Ладно, по крайней мере от одного унижения я могу себя избавить.

— Нет,— сказал он,— у меня приказ не покидать самолета...

— А-а,— сказал старик. Потом повернулся к мальчику: — Тедди, сгоняй-ка к мистеру Грейвзу и приведи его...

— Погодите! — не вникая, возразил он. Этот Грейвз мог

оказаться белым.— Попросите его просто позвонить на аэродром. Там примут меры.

Мальчик убежал.

— Далеко ему идти?

— Мили не будет...

Он откинулся на спину, поднес к глазам пыльный циферблат часов. Сейчас там должны знать, что с ним что-то случилось. В самолете превосходная рация, но какой от нее толк? Старик не умеет с ней обращаться. Канюк отбросил меня на сотни лет назад, подумал он. Смех трепыхался в нем, как эта мошкара над старой головой. Учили меня, учили, а теперь приходится целиком зависеть от крестьянского чувства времени и пространства. В ноге стреляло. В самолете ему достаточно было взглянуть на приборы, а здесь отмеривали время дергающая боль и мальчишкины ноги. Поднявшись на локтях, он увидел припудренный пылью фюзеляж самолета и ощутил в горле комок, как всегда при мысли о полете. Растопырился, подумал он, словно сброшенная скорлупка стрекозиная. Я без него голый. Это не просто машина, а твое прикрытие. Растерянно и недоумевая он прошептал: «Только с ним я что-то значу...»

Он видел глазающего старика, износившийся накаленный комбинезон висел на нем, как на вешалке. Ему до смерти хотелось открыть старику свои чувства. Но это бессмысленно. Попробуй я даже растолковать ему, зачем мне нужно вернуться на аэродром своим ходом, он скорее всего решит, что я просто боюсь белого начальства. А тут больше чем страх... и липкая, как испарина, припала тоска. Он поглядывал на старика, слышал, как тот вразбивку мурлычет песенку, восхищаясь самолетом. Смутное раздражение охватывало его. Такие же вот старики частенько приходили на поле поглядеть своими детскими глазами на летчиков. Поначалу это наполняло его гордостью: старики привносили особый смысл в новое предприятие его жизни. Но скоро он понял, что они не способны оценить его достижения, они вызывали у него стыд и неловкость, как неумеренная похвала идиота. Полеты утратили часть своего смысла,

и восполнить утраченное он не смог. Будь я профессиональным боксером, думал он, во мне скорее видели бы человека. Именно человека, а не мартышку, которая делает трюки. Им просто-напросто нравится, что я негр, умеющий летать, а ведь это поддела. Между ним и этими стариками стояли возраст, понятия, эмоции, техника и потребность оценивать себя со стороны, чужими глазами. У него было такое чувство, словно его предали, как в детстве, когда он подрост и узнал, что его отец умер. Сейчас для него имело значение только признание белого начальства, а с ним ничего нельзя знать наперед. Сторясь невежества черных и снисходительности белых, он летел в обход искомых и наличных ориентиров. В конверте с наложенными печатями, зашифрованный и тайнописный, его маршрут плавно уклонялся от стыда, который внушали такие вот старики, и от затянутого облаками одобрения белых. В этом слепом полете ему было назначено только одно место посадки, там-то он и получит свои лычки. Тогда-то и враг оценит его мастерство, и признание, подумал он с грустью, он получит не от тех, кто смотрел на него свысока, и не от тех, кто восхищался бестолково, а от врага, который ненавидяще признает его зрелость и мастерство...

Он вздохнул, видя, как от волов на высохшую бурую землю ложатся причудливые, доисторические тени.

— Не нервничай, сынок,— успокоил старик.— Он шустрый малец. Тем более — обожает аэропланы.

— Я не спешу,— сказал он.

— Этот аэроплан как называется?

— Учебно-тренировочный,— сказал он и увидел, как старик улыбнулся. Узловатыми, какими-то древесными пальцами тот оглаживал металлическую обшивку поникшего крыла.

— А какая у него, к примеру, скорость?

— Двести с лишним в час.

— Господи, твоя воля! Да при такой скорости и никакого движения не почувствуешь!

Напрягшись, Тодд расстегнул комбинезон. Тень отсту-

пила, и теперь он лежал на солнцепеке.

— Ничего, если я загляну внутрь? Всегда любопытство разбирало — что там...

— Пожалуйста. Только ничего не трогай.

Он слышал, как старик, бормоча, взбирается на крыло. Теперь жди вопросов. Хорошо, не надо раздумывать над ответами...

По-детски загоревшимися глазами старик разглядывал внутренность кабины.

— Сколько же надо знать, чтобы сладить со всеми этими штуками!

Он молча смотрел, как старик слезает с крыла и опускается на колени возле него.

— А с чего, сынок, тебя на это потянуло — летать?

Потому что выше этого ничего... потому что, подумал он, так я меньше похож на тебя.

А вслух сказал:

— Наверно, потому, что мне это нравится. Так интереснее сражаться и умирать.

— Правда? Тебе виднее, — сказал старик. — А когда же, по-твоему, они позволят вашему брату сражаться?

Он напрягся. Все негры задавали этот вопрос, и задавали всегда с такой несмелой надеждой и мольбой, что сердце у него обрывалось, как оно не обрывалось даже в первом полете. Он почувствовал головокружение. В разговор вкрадось темное предчувствие, словно он против воли вылезает в опасную, не показанную на картах зону. Где взять злости, чтобы заткнуть рот этому неумному доброжелателю?

— Одно я точно знаю...

— Что же?

— Что ты натерпелся страху, когда падал.

Он отмолчался. Словно напавший на след пес, старик вынюхивал его страхи, и в груди у него стало набухать раздражение.

— А уж я какого страху натерпелся! Вижу, ты в этой колымаге летишь вверх тормашками, думаю: все, каюк. Чуть не помер со страху.

На лице у старика он увидел ухмылку.

— С самого утра идет катавасия!

— В каком смысле?

— Перво-наперво явились двое белых — искали мистера Рудольфа, это мистера Грейвза родич. Я прямо обомлел...

— А что такое?

— Как — что? Он же из сумасшедшего дома вырвался. На убийстве помешан, — ответил старик. — Теперь-то, наверно, его уже словили. А потом ты свалился. Я поначалу думал: еще один белый. Глядь, а это ты вылезает! Я слышал, что среди летчиков есть наши, а *видеть* не доводилось. Рехнуться можно, когда видишь в аэроплане свою копию!

Стариковская болтовня струилась сбоку от мыслей Тодда, как обтекает фюзеляж летящего самолета воздух. Дурак, ругнул он себя, вспоминая, как перед штопором раскалилось солнце, сверкая внизу стеклом городских реклам, как под самолетом распушил хвост голубой змей, дергавшийся на ветру словно диковинный цветок. Когда-то он сам запускал таких змеев и теперь попытался разглядеть мальчишку на том конце невидимой нитки. Но слишком высоко он летел и слишком быстро.

В приливе восторга он круто забрал вверх. Слишком круто, подумал он сейчас. Ведь это первейшая заповедь: если угол набора высоты крут, то самолет срывается в штопор. И не нагони на него страху канюк, он бы из штопора перешел в пике. Чертов канюк!

— Сынок, откуда на стекле столько крови?

— Канюк, — сказал он, вспоминая, как на фонарь выплеснулись кровь и перья. Он словно влетел в кровавый черный смерч.

— Страсть какая! Их тут полно. Мертвечину подбирают. Живого не едят.

— Вот и я чуть не угодил ему на обед, — сумрачно сказал Тодд.

— Поганей этих птиц нет. Как-то вижу: лежит лошадь, вроде как больная. На всякий случай кричу: «Кыш! Кыш!» И что ты думаешь? Прямо из ее брюха вылетает пара

этих дряней! Морды масляные, блестят, как после жаркого!

У Тодда к горлу подкатила тошнота.

— Ты это придумал,— сказал он.

— Какое придумал! Видел, как тебя сейчас.

— Рад за тебя.

— Тут и не такое увидишь, сынок.

— Вот ты и смотри, а я обойдусь.

— Наши белые, кстати, не любят, что черные разгуливают по небу. Вам от них нет неприятностей?

— Нет.

— А то они не прочь сделать неприятность.

— Кто-нибудь всегда хочет доставить другому неприятности,— сказал Тодд.— Откуда ты про нас знаешь?

— Знаю.

— В общем,— сказал он замыкаясь,— никто нам не чинит неприятностей.

В ушах стучала кровь, когда он перевел взгляд на небо. Он напрягся, разглядев там черную точку и сиюсь разобрат, что это.

— Что это там, по-твоему? — загорелся он.

— Твой давешний приятель, сынок.

Тут он с неприязненным чувством различил взмахи крыльев. Птица плавно скользила вниз, широко раскинув крылья, трепеща оперением хвоста, потом упала камнем и канула за зелеными кронами деревьев. Как и не было ее, а есть только резко начертанные на полотне белесого неба понурые сосновые лапы. Он лежал недвижно и, задыхаясь от омерзения и восторга, смотрел на место, откуда изгладилась птица. Как можно было сотворить их такими погаными — и при этом научить так великолепно летать? Он вздрогнул, услышав: «Вот и я, когда был на небесах...»

Старик посмеивался, тер заросший подбородок.

— Что, что?

— А то, что я помер и попал на небо... может, успею рассказать, пока за тобой не пришли...

— Надеюсь, все же придут,— слабо отозвался он.

— Вы промеж себя байки рассказываете?

— Редко. А ты мне байку припас?

— Откуда я знаю, если это приключилось, когда я был мертвый? А насчет канюков,— добавил старик,— это не байка.

— Ладно,— сказал он.

— Так рассказывать про небеса?

— Сделай одолжение,— ответил он, подложив руку под голову.

— Попал я, значит, на небо и стал отращивать себе крылья. Выросли: каждое шесть футов в длину. Ни дать ни взять белый ангел. Я своим глазам не поверил. Так обрадовался, что скорей полез на облака, чтоб испытать. Потому что неохота потом оскандалиться...

Старая байка, подумал Тодд. Может, сам же мне и рассказывал тысячу лет назад, а теперь забыл. Ладно, все лучше, чем слушать про канюков.

Он закрыл глаза и прислушался.

— Выбрал я для начала облачко пониже и сиганул. И представь себе: действуют крылья! Сперва я испытал правое, потом левое, потом оба вместе. Потом наладился и полетал над своими — пусть посмотрят!

Раскинув по-летному руки, старик с потешной важностью на лице кивал головой на воображаемых зрителей, а он думал: «В газетах напишут...» — и слушал дальше.

— И вот прилетел я к цветным ангелам: я, пока не увидел настоящего черного ангела, даже не думал, что я тоже ангел! А тут убедился, и они мне велют скорей спускаться, потому что цветные должны надевать особую сбрую, когда летают. Поэтому-то сами они не летали: даже черному надо быть настоящим силачом, чтобы таскать на себе эту сбрую...

Это что-то новое, подумал Тодд, к чему он клонит?

— И я себе так сказал: никакой сбруи! Еще не хватало! Если господь позволил тебе отрастить крылья, то надо это понимать и не давать другим вешать на тебя всякую помеху. Стал я, значит, летать. Черт возьми, сынок,— хохотнул он, поблескивая глазами,— мне надо было им до-

казать, что старик Джефферсон не хуже других летун. И доказал — порхал что твоя птица! Даже мертвую петлю делал, только рясу приходилось прихватывать ногами...

Тодду было не по себе. Хотелось посмеяться над шуткой, но тело самовольно противилось. Вот так же в детстве: разжуешь обсахаренную пилюлю — и уже не отплюешься от горечи, а мать смеется.

— Все бы хорошо,— слышал он,— да погнался я за скоростью. Я так быстро летал, что от меня шел настоящий ураган. Разные штуки научился делать. То к звездам взлечу, то вниз ухну, то вокруг Луны облечу. Нагнал я страху на белых ангелов. Славно почудил. И вовсе не со зла, сынок. Очень мне было хорошо. Очень это хорошо — чувствовать себя вольной птицей. Нечаянно сбил зубчики у пары-тройки звезд, смерч, говорят, устроил и будто бы из-за меня двоих тут линчевали, в Маконе, только, ей-богу, не верю я ребятам, врут...

Он издевается надо мной, озлобленно подумал Тодд. Балагур. Ишь как ухмыляется... В горле у него пересохло. Он взглянул на часы. Какого черта они не являются?! Раз это их обязанность! «Лечу я как-то по одной райской улице». Сам виноват, подумал Тодд. Попал, как Иона в чрево кита.

— Лечу себе и в ус не дую. Тогда зовет меня святой Петр. «Джефферсон,— говорит,— скажи мне две вещи: с чего это ты летаешь без сбруи и как у тебя получается летать так быстро?» Без сбруи, говорю, я потому летаю, что она мне мешает, а что быстро — так это вряд ли, потому что летаю я на одном крыле. Святой Петр говорит: «Что, что? На одном крыле?» Так точно, отвечаю, а у самого поджилки трясутся. Тогда он говорит: «Вот что. Раз у тебя такие замечательные крылья, про сбрую пока забудь. Но вперед на одном крыле не летай, а то костей не соберешь».

Язык у тебя без костей, подумал Тодд. За мальчиком его послать, что ли? Тело затекло на жесткой земле, он поерзал, укладываясь удобнее, стронул лодыжку с места и, ненавидя себя, вскрикнул.

— Что, хуже?

— Лодыжку... потревожил,— простонал он.

— Постарайся не думать про нее, сынок. Поверь слову: помогает.

Он закусил губу, чтобы отвлечься на свежую боль, а старик возобновил свою мерную речь. Собственная выдумка, похоже, целиком захватила Джефферсона.

— После этих неприятностей я стал потише шастать в небе, только ведь мы, цветные, забывчивые, и я опять перешел на одно крыло. Тем более руку надо было беречь, она у меня сломанная, и носился я, как черт от ладана. Опять зовет меня святой Петр. Говорит: «Джефф, разве я не остерегал тебя насчет скорости?» — «Так точно, говорю, так ведь я нечаянно». Он грустно так посмотрел на меня, покрутил головой, и я понял, что моя песенка спета. «Джефф,— говорит,— от тебя с твоей резвостью божественной братии одна маета. Если я позволю тебе летать дальше, то на небе никакого порядка не останется. Уходи подобра-поздорову, Джефф». Уж я доказывал, сынок, просил белого старика, да все без толку. Оттащили меня к жемчужным воротам, дали в руки парашют и карту штата Алабама...

Тодд слышал, как он хохочет, не в силах продолжать рассказ, и между ними воздвиглась преграда, на которую огнем полыхнула его обида.

— Может, ты помолчишь немного? — сказал он не своим голосом.

— А немного и осталось,— сквозь смех сказал Джефферсон.— Дали мне парашют, и святой Петр спрашивает, не хочу ли я чего сказать напоследок. А мне так паршиво, что я глаз не могу на него поднять, тем более ангелы белые сбежались. Тут кто-то рассмеялся, и меня прорвало. Я и говорю ему: «Ладно, крылья вы у меня отобрали. За порог выставляете. Вы тут всем заправляете, и от меня ничего не зависит. А все-таки быстрее меня у вас никакой сукин сын тут не летал!»

Взрыв его смеха поверг Тодда в бездну унижения, только

отчаянный поступок смывает такой позор. Сотрясавший старика, как сильное рвотное, смех всколыхнул в нем чувство вины, а он не самолет, чтобы умело выходить из болтанки, и вчуже он услышал свой вопль: «Что же ты смеешься надо мной?!»

В эту минуту он себя ненавидел, но он уже не управлял собою. У Джефферсона, он видел, отвисла челюсть: «Что?..»
— Отвечай!

Кровь колотила, грозя разнести виски, он дернулся к старику, упал, крича:

— Если нам не дают летать по-настоящему, я-то тут при чем?! Пусть мы канюки и жрем падаль, но можем мы надеяться, что станем орлами? Можем — или нет?!

Он без сил откинулся навзничь, лодыжку дергало. Рот, как соломой, забило слюной. Будь у него силы, он задушил бы старика, этого скалящего зубы шута горохового с пепельной головой, который заставлял его ежиться, как под взглядами белых офицеров на летном поле. А ведь старик не располагал властью, не имел авторитета, звания, не разбирался в технике. От этого мука была безысходнее. На лице старика он видел смятенную борьбу чувств.

— О чем ты, сынок? О чем толкуешь?

— Убирайся. Рассказывай свои сказки белым.

— Я же ничего такого не хотел... Я не хотел расстраивать тебя...

— Убирайся ко всем чертям.

— У меня в мыслях не было плохого, сынок.

Трясаясь как в ознобе, Годд высматривал на стариковом лице следы потаенного ехидства. Но сейчас это было унылое лицо, усталое и старое. Он не знал, что думать. Не верилось, что это лицо могло смеяться, что Джефферсон вообще умел смеяться. Он увидел тянущуюся к нему руку и подобрался, ни в чем не уверенный, кроме боли, от которой перед глазами все плыло. Может, он все придумал?

— Не переживай, сынок,— донесся печальный голос.

Он слышал, как Джефферсон перевел дух, словно облегчив душу. Гнев отступил, осталась только боль.

— Прости,— пробормотал он.

— Это тебя боль замучила.

Как сквозь туман разглядел он улыбку на его лице. На секунду он трепетно ощутил тишину взаимопонимания.

— Что же тебя занесло в наши края, сынок? Неужели не боялся, что подстрелят как ворону?

Тодд напрягся. Снова насмешки? Он не успел разобраться: накатила и потряхнула боль, и часть его существа затихла перед разделившей их пеленой боли, припоминая, как он впервые увидел самолет. На воздушной базе его памяти словно распахнулись ворота уходящих в бесконечную даль ангаров, и из каждого, как оса из своей ячейки, выпорхнула память о самолете.

Когда я впервые увидел самолет, я был совсем маленьким и самолеты были в новинку. Мне было четыре с половиной года, и самым первым самолетом была модель, парившая под куполом автомобильного павильона на ярмарке в нашем штате. Правда, я не знал, что это всего-навсего модель. Я не знал, что настоящий самолет — это большая и дорогая машина. В моих глазах он был всего-навсего замечательной игрушкой, которую, говорила мать, могут позволить себе только богатые белые мальчики. Мать буквально силком увела меня из павильона, и даже карусель, чертово колесо и скаковых лошадей я в тот день проглотил невнимательно. Я изображал губами шмелиный гул самолета, показывал, раскинув руки, его броски и плавное, кругами, парение.

С того дня я забросил фургоны и автомобили и деревяшки, захламлявшие задний двор, пустил на самолеты. Я строил бипланы: дощечки шли на крылья, коробочка годилась для фюзеляжа, из щепки получался руль. Ярмарка внесла новизну в мой маленький мир. Я не уставал спрашивать мать, когда снова будет ярмарка. Я лежал в траве, глазел на небо и в каждой пролетавшей птице видел парящий самолет. Пройдет не меньше года, прежде чем я снова его увижу. Я всех замучил расспросами, но старики сами дивились на самолеты и толком ничего сказать не могли. Только дядя

кое-что понимал, а главное — он выстругивал из деревяшек пропеллеры, которые раскручивались против ветра, шумно елозя на смазанном гвозде.

Я хотел самолета больше всего на свете — больше красного фургона с резиновыми колесиками, больше игрушечного поезда, бегавшего по рельсам. Я снова и снова теребил мать:

— Мам!

— Что тебе, пострел? — отвечала она.

— Мам, ты не рассердишься, если я спрошу? — говорил я.

— Говори, что нужно, на дурацкие вопросы мне некогда отвечать. Что тебе?

— Мам, когда ты мне подаришь?.. — спрашивал я.

— Подарю — что? — говорила она.

— Ты знаешь: что я тебя просил...

— Если не хочешь ремня, — говорила она, — не говори загадками, у меня работа стоит.

— Ну, мам, ты знаешь...

— Я что сказала? — говорила она.

— Когда ты мне подаришь самолет?

— САМОЛЕТ?! Ты совсем с ума сошел! Сколько раз повторять, что ты должен выбросить из головы эту глупость! Я уже объяснила: это очень дорогая вещь. Перестань трепать нервы своими самолетами, не то я тебе последнюю память отобью.

Но не мог я выбросить их из головы, и дня через два снова надоедал матери.

И однажды случилась странная вещь. Была весна, и почему-то с самого утра я был в лихорадочном возбуждении. А весна стояла превосходная. Я босой бегал по заднему двору. Словно гроздь пахучего белого винограда, свисали с колючих черных акаций цветочные метелки. Над ежиком не просохшей от росы травки порхали бабочки. Я забежал в дом за бутербродом, а когда вышел, то различил непонятный ровный гул. Ничего похожего я раньше не слышал. Я попытался определить, где гудит. Не получалось. Чувство было такое, как когда-то, когда я искал отцовские часы в

комнате: тикают, а на глаза не попадают. Или будто я забыл выполнить материню поручение... Скоро я выяснил гудело сверху. По небу летел самолет — низко, в какой-то сотне ярдов от меня! Он летел так медленно, что казался подвешенным. Я широко раскрыл рот, бутерброд упал в грязь. Хотелось прыгать, кричать. Потом блеснула догадка, и я задохнулся от восторга: «У какого-то белого мальчика улетел самолет, нужно только протянуть руки — и он мой!» Это был маленький самолет — вроде того, на ярмарке, и летел он не выше стрехи. Он неуклонно приближался, поднимая теплую волну надежды. Я открыл раму с марлевой сеткой, вскарабкался на нее и замер. Я схвачу самолет, когда он будет у меня над головой, быстренько спущусь и улизну в дом, пока меня никто не видит. Попробуйте потом доказать, что это не мой самолет. Он гудел все ближе. И вот прямо надо мной в голубизне повис серебряный крест, я выбросил руку и схватил его. С таким же успехом можно ткнуть пальцем в мыльный пузырь: самолет улетал, словно я дунул ему вслед. Я снова попытался его схватить, теперь уже за хвост. Пальцы ухватили пустоту, горло сдавила обида. В отчаянье я дернулся еще раз, потерял равновесие и сорвался с рамы. Я падал. Земля вскинулась навстречу. Я грянул в землю пятками, упал, перевел дух и заревел.

Из дома выбежала мать.

— Что с тобой, маленький? Что случилось?

— Он улетел! Улетел!

— Кто улетел?

— Самолет!

— Какой самолет?

— Такой, как тогда на ярмарке... Я... хотел его остановить, а он не останавливается...

— Когда это было, сынок?

— Только что, — кричал я сквозь слезы.

— А куда улетел, в какую сторону?

— Вон туда...

Я показал на тающий в дымке самолет, и она стала шарить глазами по небу — руки в боки, пестрый фартук треплется на

ветру. Потом посмотрела на меня сверху и медленно покачала головой.

— Улетел! Улетел! — кричал я.

— Дурачок, — сказала она. — Ты что, не видишь: это настоящий самолет, а никакой не игрушечный.

— Настоящий? — Я даже плакать перестал. — Настоящий?

— Настоящий. Неужели ты не понимаешь, что эта игрушка больше автомобиля? Что же ты за ним тянешься, когда до него все двести миль! — Она задыхалась от возмущения. — Марш домой, пока не увидели, какой ты безмозглый. Руки сначала отрасти подлиннее...

Меня увели в дом, раздели, уложили в постель и вызвали доктора. Я безутешно плакал — и от обиды, что самолет оказался таким недосягаемым, и от боли.

Пришел доктор, и я слышал, как мать рассказывает ему про самолет и тревожится, в порядке ли у меня с головой. Тот объяснил, что у меня уже несколько часов лихорадка. Меня на неделю уложили в постель, и все время мне снился самолет, он пролетал, почти касаясь кончиков моих пальцев, и летел так медленно, что казался недвижимым. И всякий раз я тянулся за ним, и всякий раз упускал, и всякий раз слышал сквозь сон бабушкино остережение:

С богом вздорить малый прок:

Руки коротки, сынок.

— Эй, сынок!

Он не сразу вспомнил, где находится, и затуманенными глазами посмотрел на старика, тыкавшего пальцем в сторону.

— Это не ваш там самолет, не тебя ищут?

Когда зрение прояснилось, он разглядел над дальним полем черную закорючку, дрожавшую в знойном мареве. Но как он мог доверять своим чувствам, если раздражающая его боль казалась ему воплощением кошмарного наваждения: мелькающие лопасти пропеллера разрубают его надвое.

— Думаешь, он нас видит? — услышал он.

— Надеюсь, что да.

— Как из преисподней вырвался.

Напрягшись, он расслышал слабый гул мотора и стал ждать, когда самолет будет над ними.

— Как ты себя чувствуешь?

— Ужасно,— сказал он.

— Смотри, он развернулся и улетает!

— Наверно, увидел нас,— сказал он.— Наверно, придет скорую помощь и обслугу.

А может быть, подумал он с тоской, он нас так и не увидел.

— Куда ты послал мальчика?

— К мистеру Грейвзу,— сказал Джефферсон.— На чьей земле мы сейчас.

— Ты думаешь, он позвонил?

Джефферсон бросил на него быстрый взгляд.

— Наверно... Хоть из-за тех убийств о Дэбни Грейвзе ходит худая слава, но позвонить он позвонит...

— Из-за каких убийств?

— Да пятерых же парней... Неужели не слышал? — спросил он удивленно.

— Нет.

— Дэбни Грейвза тут хорошо знают, особо цветные. По-убивал он нашего брата.

Тодд почувствовал, как оно бывает — попасться вечером в квартале для белых.

— А что они сделали? — спросил он.

— Людьми себя считали,— сказал Джефферсон.— Ну и задолжал он кому-то из них... Как мне, например...

— Зачем тогда здесь оставаться?

— Ты — черный, сынок.

— Знаю, но...

— Тебе тоже приходится якшаться с белыми.

Смиренно и виновато увел он глаза в сторону. И довольно скоро придется, тоскливо подумал он. Он слушал Джефферсона, а кроваво-красное солнце палило смеженные веки.

— Некуда мне деваться,— говорил Джефферсон,— никуда от них не скроешься. А Дэбни Грейвз — он чудила. Все время тешится. То злодей, каких свет не видел, то,

наоборот, за черных заступается. Я сам свидетель. Только я его еще больше за это ненавижу. Потому что когда ему надоест помогать человеку, он и думать о нем перестает. Бросает на произвол судьбы. И этого, кому он помогал, другие белые уже не пощадят. Для него-то это развлечение. Ему на других наплевать, только о себе думает...

В голосе старика Тодд уловил осторожность, словно тот придерживал слова, боясь его задеть и растревожить.

— Сейчас он сделал тебе одолжение, а потом в два счета облапошит. Я поэтому держусь от него подальше, тут иначе нельзя.

Хоть бы на время унялась нога, подумал он. Чем ближе я спускаюсь к земле, мелькнула мысль, тем чернее становлюсь. Пот заливал глаза, но самолета он не видел, потому что кружилась голова. Он попробовал найти Джефферсона. Что это он держит в руке? Черного человечка, еще одного Джефферсона! Маленький Джефферсон помирал со смеху, а большой смотрел на кривляку непричастно. Потом Джефферсон поднял глаза и заговорил, но Тодд уже отлетел в забытый год и день и в небе жаркого сухого края высматривал самолет. Почему-то получилось так, что он шел с матерью пустыми улицами, и из-за опущенных штор выглядывали черные лица, и кто-то стучал в оконное стекло, и когда он оборачивался, то за скрипнувшей дверью видел отчаянно манившую руку и перепуганное лицо, а мать глядела в глубь опустевшей улицы, качала головой и торопила его, и сначала просто блеснуло в глаза, потом в лучах солнца налилось серебром и с гулом описало круг, и он увидел взрыв, похожий на облачко белого дыма, услышал, как мать зовет: «Идем, идем, сынок, некогда мне смотреть на эти дурацкие самолеты, некогда», и в другой раз хлопнуло, когда самолет летел уже высоко, и облачко вылетело и медленно пошло вниз, волнуясь и посверкивая, словно фейерверк, и мать торопила, а он смотрел, как надвигается смерч волчком крутящихся открыток, как ветер охапками швыряет их на крыши и в желоба, и какая-то женщина на бегу ухватила открытку, прочла и закричала не своим голосом, и он вбежал под самый

их ливень и ловил, словно снежные хлопья зимой, не слушая материных «Иди сюда, сынок! Кому сказано: иди сюда!» — и видел, как мать поймала открытку и как озадаченное выражение на ее лице сменилось мертвенной маской, когда, прочитав дрожащим голосом: «Негры, не суйтесь на выборы», она издала вопль ужаса, увидев белый капюшон, пустыми глазницами глядевший с открытки, а он смотрел, как легко ввинчивается в небо самолет, горящий на солнце словно огненный меч. Смертный страх и смертельный восторг раздирали его душу.

Солнце еще спустилось, что-то говорил Джефферсон, и чуть погодя он различил три фигуры, бредущие по бугристому полю.

— Вроде как врачи, в белых халатах, — сказал Джефферсон.

Прибыли наконец, подумал Тодд. Он почувствовал такое колоссальное облегчение, что едва не впал в забытие. Но ему не удалось даже закрыть глаза: трое белых навалились, завладели отбивающимися руками, просунули их в какие-то рукава. Только этого не хватало: он лежал связанный, ослепший от боли и понимал, что он в смирительной рубашке. Что за издевательство?!

— Теперь никуда не денется, мистер Грейвз, — услышал он.

Все силы, какие оставались, прилили к глазам, когда он вглядывался в их лица. Вот он, Грейвз, а эти двое — санитары из больницы. Страх и ненависть с равной силой захлестнули его, когда он услышал этого Грейвза:

— А что, ребята, он прямо красавчик в этом костюме. Хорошо, что вы мне подвернулись.

— Он не сумасшедший, мистер Грейвз, — сказал один из них. — Ему врач нужен, а не мы. Не знаю, зачем вы нас сбили и привели сюда. Для вас это, может, шутка, а ваш родственник Рудольф тем временем кого-нибудь прихлопнет. И белый ему подвернется или негр — все одно плохо...

Тодд видел, как Грейвз налился кровью, свирепея. Посмеиваясь, он окинул Тодда взглядом.

— Этот негр, ребята, тоже заслужил смирительную рубашку. Я это сразу сообразил, как только малец Джеффа заикнулся про негра-летчика. Какого негра мы пустим вверх? Только сумасшедшего. У негра мозги не приспособлены для высоты...

Тодд смотрел на эту роняющую слова красную физиономию и видел перед собой воплощение безымянного кошмара и невообразимого непотребства.

— Надо трогаться,— сказал санитар.

Его товарищ потянулся к Тодду, и тот тогда только понял, что лежит на носилках, когда крикнул:

— Не прикасайтесь ко мне!

Они удивленно отпрянули.

— Ты что там вякаешь, негр? — спросил Грейвз.

Он не ответил, он думал, что Грейвз метит ногой ему в голову. Нога опустилась на грудь, и у него сперло дыхание. Он зашелся кашлем, увидел, как Грейвз щерится желтыми зубами, попытался шевельнуть головой. Было такое чувство, словно по лицу ползет полудохлая муха, а в груди вот-вот разорвется бомба. Из горла толчками вырывался воспаленный, истерический смех, от которого глаза лезли из орбит и едва не лопались вены на шее. Потом часть его существа отступила и со стороны наблюдала удивление на красной физиономии Грейвза и собственную истерику. Ему казалось, что он уже никогда не остановится, что он буквально умрет от смеха. Так же раньше звенел в ушах смех Джефферсона, и он нашел его глазами, отчаянно зацепился за его лицо, словно в Джефферсоне было единственное спасение от безумства ярости и унижения. И определенно стало легче. Он вдруг осознал, что, хотя его тело еще бьется в конвульсиях, снаружи он уже ничего не слышит. Он благодарно услышал голос Джефферсона:

— Мистер Грейвз, армейские начальники не велели ему оставлять самолет.

— Мне наплевать на армейских начальников, негр. Убирайтесь с моей земли. Самолет пусть останется, он на наши

налоги построен. А вы все убирайтесь. Меня не касается, живой он или поддыхает.

Все это уже не достигало Тодда, брошенного в пучину страданий.

— Джефф,— велел Грейвз,— возьми с Тедди за ручки. Оттащите этого черного орла на их негритянский аэродром и оставьте там.

Молча подошли Джефферсон и мальчик. Он смотрел в сторону, понимая, что только они в силах снять с него давящий груз одиночества,— и сомневаясь в этом.

Они склонились к носилкам. Санитар шагнул к Тедди:

— А ты справишься, паренек?

— Думаю, что справлюсь, сэр,— сказал Тедди.

— Тогда иди сзади, а папаша пойдет впереди, чтобы у этого нога была повыше.

Белые ушли вперед, и Джефферсон с мальчиком молча понесли его. Они встали передохнуть, и он почувствовал, как ему стирают пот с лица, потом двинулись дальше. Казалось, они избавили его от одиночества, вернули в людское общество. Свежий ток побежал между ним, стариком и мальчиком. Они бережно несли его. Вдали он услышал звонкий крик пересмешника. Подняв глаза, увидел неподвижно висевшего в небе канюка. На секунду весь этот день навис над ним, и уже подбирался к нему кошмар. Но тут, словно в собственной голове мотив, он услышал негромкое мурлыканье мальчика и увидел, как черная птица скользнула в солнечный круг и засверкала золотом, словно жар-птица.

Король американского лото

Впереди него женщина ела жареный арахис, от которого так вкусно пахло, что подавлять голод не было никаких сил. Тут бы заснуть, да нет, куда там,— скорей бы уж они все свернули да перешли к игре в бинго. А справа от него двое парней пили вино из горлышка, обернув бутылку бумажным

пакетом, и из темноты доносилось тихое бульканье. В животе басовито, мучительно заурчало. «Было бы это у нас на Юге,— подумал он,— всего и делов-то — наклониться к ней и сказать: «Извиняюсь, мэм, орешками не угостите?» — и она протянула бы пакетик и ничего такого бы не подумала». А можно было бы точно так же попросить у ребят выпить. На Юге свои как-то вместе держатся, необязательно даже знакомые. Здесь — нет, здесь не так. Что-нибудь у кого-нибудь попросишь — и сразу решат, что ты рехнулся. Да ничего я не рехнулся! Ну нет у меня денег, потому что без документов на работу не берут, а Лаура, не ровен час, помрет, потому что нет денег на доктора. А вовсе я не рехнулся. И все же у него в мозгу тлел очажок сомнения, но тут он перевел взгляд на экран и увидел, как герой фильма крадучись входит в темную комнату и проводит лучом карманного фонарика по книжным полкам, закрывающим стену. Вспомнилось: сейчас обнаружит потайную дверь. Потом пройдет напрямик сквозь стену и найдет привязанную к кровати девушку, ноги и руки широко раскинуты, одежда изорвана в клочья. Он хмыкнул себе под нос. Эту кинокартину он смотрел три раза; сцена что надо, из самых его любимых.

Парень справа, выпучив глаза, зашептал своему приятелю:

— Ты! Гляди скорей!

— Во дает!

— Меня бы туда к ней, к связанной...

— Э! Этот болван сейчас ее отпустит!

— Ха, брат, у них любовь.

— Да хоть любовь, хоть что!

Сидящий рядом нетерпеливо шевельнулся, и он попытался с головой уйти в события на экране. Но все мысли были о Лауре. Быстро устав от кино, он принялся глядеть туда, где из проекционной комнаты над балконом изливался белый луч. Вначале маленький, луч по пути к экрану рос и рос, и в белизне луча танцевали пылинки. Странно, и как это луч всегда падает прямо на экран, никогда не собьется, не попадет куда-нибудь не туда. Но это уж у них так предусмотр-

рено. У них вообще все предусмотрено. А что было бы, если бы, когда показали ту девушку в порванном платье, она стала бы снимать остатки одежды, а потом, когда вошел этот тип, то не отвязал бы ее, а оставил как есть и сам бы принялся раздеваться? Было бы неслабо. Если бы картина таким манером вразнос пошла, ребятки вообще бы обалдели. Хо, а народу бы сколько набежало, полгода потом свободное местечко ищи-свищи. Вдруг появилось странное ощущение, словно по коже пробегает что-то. Его передернуло. Вчера он заметил у одной женщины на шее клопа, когда выходил вместе с толпой на ярко освещенную улицу. Сквозь дыру в кармане он принялся исследовать свое бедро, но, кроме пупырышек гусиной кожи и старых шрамов, ничего не обнаружил.

Снова забулькало вино в бутылке. Он закрыл глаза. Теперь фильм сопровождала мечтательная музыка, вдалеке раздавались гудки поездов, и вот он снова маленький мальчик, где-то на Юге, он идет через железнодорожный мост, и видит приближающийся поезд, и со всех ног бросается назад, и слышит рев гудка, сбегает с моста на твердую землю как раз вовремя, с облегчением чувствует дрожь земли под ногами и бежит по усыпанной гарью набережной к шоссе, оглядывается и с ужасом видит, что поезд сошел с рельсов и гонится за ним прямо посередине мостовой, а люди вокруг одни белые, они смеются, и он бежит с криком...

— Эй, проснись, приятель! Чего орешь как ошалелый? Люди кино пришли смотреть, соображаешь?

С благодарностью он посмотрел на соседа.

— Извини, старик, — сказал он. — Задремал, видать.

— Ладно, на-ка вот, выпей. А то расшумелся тут, черт.

Он взял бутылку задрожавшими руками и запрокинул голову. Это оказалось не вино, а виски. Холодное крепкое виски. Он как следует глотнул, решил, что второй глоток был бы лишним, и вернул бутылку.

— Спасибо, старик, — сказал он.

Теперь он чувствовал, как холодное виски прокладывает себе теплую дорожку куда-то в самое нутро, по пути стано-

вась все горячей и ядреней. Весь день он ничего не ел; мысли от этого слегка путались. Запах арахиса пронзил его как ножом, он встал и пересел в другое кресло, через проход. Но не успел усесться, как заметил целый выводок сидящих рядком молоденьких девчонок с застывшими в напряженном внимании рожцами, и он снова встал, подумав: «Вам бы в прыгалки еще играть, соплюхи». Нашел себе свободное место на несколько рядов ближе к экрану, и тут же зажегся свет, и он смотрел, как экран исчезает за тяжелым, красным с золотом, занавесом; потом занавес поехал вверх, и на сцену вышел человек с микрофоном, за ним служитель в униформе.

Улыбнувшись, он полез за своими билетиками американского лото. Тому парню, который в дверях торчит, навряд ли понравилось бы, что у кого-то здесь на руках целых *пять* билетиков бинго. Ну да поди проверь! — не каждый ведь пришел сюда играть; впрочем, даже и с пятью билетиками шансов у него не так уж много. Но ради Лауры он должен надеяться. Он изучил свои билетики: на всех были разные цифры, а посередине места для отверстий, которые он продырявил, потом разложил билетики на коленях, и когда свет притушили, он сгорбился в кресле так, чтобы легко и быстро можно было перебегать глазами с билетиков на лотерейное колесо.

Впереди, в конце затемненного зала, человек с микрофоном раскручивал колесо бинго, нажимая на кнопку, приделанную к длинному шнуру, и каждый раз, когда колесо замирало, называл выпавшее число, а он каждый раз, когда раздавался голос человека с микрофоном, пробегал пальцем по своим билетикам в поисках объявленного числа. С пятью билетами приходилось поспешать. Он встревожился: слишком уж много билетов, а этот тип со своим скрипучим голосом вздохнуть не дает. Может быть, просто выбрать какой-нибудь один, а остальные билеты выкинуть? Пожалуй, нет, страшно. Стало жарко. Интересно, сколько нужно, чтобы заплатить доктору? К дьяволу, смотри на билеты! В смятении он слушал, как объявляют номера, и пропускал, три раза подряд не успев сверить их ни с одним из пяти биле-

тов. Если так пойдет дальше, черта с два тут выиграешь!..

Когда он увидел ряд дырочек, пробитых в третьем билете, он словно одеревенел, и тот человек успел назвать еще три числа, прежде чем он дернулся вперед с криком: «Бинго! Бинго!»

— Пропустите там этого растяпу,— раздалось в зале.

— Ну ты, давай пролазь!

Спотыкаясь, он ринулся по проходу и, взобравшись по ступенькам на сцену, попал в такой режущий, яркий свет, что на мгновение ослеп; он почувствовал, что очутился в поле действия какой-то непонятной, загадочной силы. Хотя чего тут непонятного, все просто, как палец, обыкновенное бинго.

Распорядитель с микрофоном что-то говорил зрителям, а он стоял поодаль, протягивая билетик с номером. На пальце у распорядителя что-то холодно блеснуло; билет перешел из рук в руки. Колени подкашивались. Человек с микрофоном ступил поближе, сверяя цифры на билете с написанными мелом на доске. А вдруг ошибка? При виде напояженных волос распорядителя ему стало нехорошо, и он отшатнулся. Но тот считывал цифры с билетика над самым микрофоном, и приходилось стоять рядом. В напряжении он ждал и слушал.

— Под «О» — сорок четыре,— выкликнул нараспев распорядитель.— Под «И» — семь. Под «Г» — три. Под «Б» — девяносто шесть. Под «Н» — тринадцать!

Человек с микрофоном улыбнулся зрителям, и дышать стало сразу легче.

— Вот ведь как, леди и джентльмены: перед вами избранник судьбы!

По залу прокатился смех и аплодисменты.

— Подойдите сюда, вот сюда, на середину сцены.

Он медленно двинулся вперед, досадуя на слишком яркий свет.

— Сегодня в нашем банке тридцать шесть долларов девяносто центов. Все целиком вы получите, если колесо остановится между нулями, понятно?

Он кивнул, и без того все зная как «Отче наш»: недаром

же столько дней, столько вечеров смотрел, как счастливики проходят по сцене, нажимают на кнопку, заставляющую колесо крутиться, и получают свои выигрыши. И теперь он выполнял указания так, словно миллион раз наступал его звездный миг на этом скользком помосте.

Распорядитель что-то сострил, и он кивнул, не вникая. Так все внутри стянуло, так свело, что захотелось вдруг крикнуть, снять судорогу. И появилось подспудное ощущение, словно этим лотерейным колесом определяется все в его жизни — и не только теперь, когда он добрался-таки до заветного колеса, но и все, что было раньше, с тех пор как он родился, и родилась его мать, и его отец родился. Колесо это было здесь всегда, пусть даже он об этом и не ведал, крутилось, выдавая несчастливые билетки с номерами дней его жизни. Ощущение не проходило, и он быстро двинулся прочь. Сойду-ка лучше вниз, пока не опозорился, подумал он.

— Погоди-ка, малый,— окликнул его распорядитель.— Ты ж не начал еще.

Он возвратился, в зале засмеялись.

— Вот те на, чувак, поплохело, что ли?

В устах распорядителя жаргончик джазменов вызвал у него ухмылку, но ни слова выжать из себя не удалось, и он понял, что ухмылка не получилась убедительной. Потому что внезапно пришло чувство, будто балансируешь на скользком краешке какой-то ужасной неловкости.

— Ты, малый, родом-то откуда?

— С Юга вообще-то.

— Он вообще-то с Юга, леди и джентльмены,— объявил распорядитель.— А откуда? Через усилки, прямо в микрофон давай.

— Скалистая Гора,— ответил он.— Ну там. В Северной Каролине.

— И ты, значит, решил сойти с этой своей горы к нам в Штаты,— засмеялся распорядитель. Мелькнула мысль, что распорядитель выставляет его на посмешище, но тут в руке оказалось что-то холодное, и огни сзади исчезли.

Стоя перед этим колесом, он почувствовал себя как-то одиноко, но это было вроде так и надо, и он вспомнил, как собирался действовать. Он даст колесу одну короткую, быструю закрутку. Только дотронуться до кнопки. Такое он наблюдал много раз, и всегда колесо останавливалось невдалеке от двойного нуля, лишь бы коротко и быстро. Он взял себя в руки; страха больше не было, охватило предощущение удачи, будто вот-вот ему воздастся за все его злоключения и невзгоды. Дрожа, он надавил на кнопку. Взвихрились огни, и через секунду до него дошло, что поздно, что отпустить кнопку, как собирался, он уже не сможет. Словно в руке был оголенный провод высокого напряжения. Нервы натянулись. Все быстрее крутилось колесо, и, казалось, все больше и больше он втягивается в силовое поле этого вращения, так, будто в колесе бинго — сама судьба, и ничего уже не надо, только отдаться, закружиться, исчезнуть в этом вихре цветных огней. Он не может теперь остановить колесо, это ясно. Ну и ладно, и пусть.

Кнопка удобно сидела в кулаке, куда ее вставил распорядитель. Тут вновь рядом возник этот тип, в микрофон что-то ему советовал, а сзади в полутьме галдели, гомонили голоса. Он переступил с ноги на ногу. Внутри так и засело ощущение беспомощности, из-за которого какой-то частью своего существа он до сих пор хотел отступить, сдаться, даже теперь, когда вся игра, весь банк зажат у него в кулаке. Он стиснул кнопку так, что ладонь заныла. Потом, подобно внезапному вскрику поезда метро, его мозг пронзило сомнение. А вдруг он недостаточно еще долго раскручивает колесо? Что тогда? И как это проверить? А потом он понял, пусть и не разрешив своих сомнений, он понял, что, пока он жмет на кнопку, игра подчинена ему. От него, только от него зависит, сорвет он банк или нет. Сам этот человек с микрофоном и тот теперь не может ничего сделать. Он почувствовал опьянение. Потом, словно спустившись с высокой горы в людную долину, он услышал выкрики зрителей:

— А ну, слезай оттуда, ты, падло!

— Дайте кому-нибудь другому попробовать...

— Эк, рожа, вцепился, будто радугу за хвост поймал...

В этом последнем выкрике было что-то дружелюбное; он обернулся и как сквозь сон улыбнулся орущим ртам. Потом он решительно повернулся к ним спиной.

— Слышь, малый, не надо так долго,— произнес какой-то голос.

Он кивнул. Позади него стоял крик. Они не понимают, что с ним случилось. Они играют в американское лото годами, день за днем, с утра до ночи, пытаюсь выиграть доллары на квартплату или центы на бутерброд, но до такого замечательного открытия ни один из этих умников не допер! Он смотрел, как пробегает, крутясь, колесо мимо чисел, и весь переполнялся ликованием: ведь это бог! Истинный бог — это же очевидно и несомненно! Он произнес это вслух:— Вот он — бог!

Он сказал это с такой окончательной убежденностью, что испугался, не упасть бы в обморок на фонари рампы. Но толпа так вопила, что никто ничего не услышал. Вот дураки, подумал он. Я тут пытаюсь открыть им самую удивительную в мире тайну, а они орут как оглашенные. На плечо ему опустилась рука.

— Ну, малый, пора тебе решаться. И так уже ты слишком долго.

Он яростно стряхнул с себя эту руку:

— Да оставьте меня в покое. Я знаю, что делаю!

С удивленным видом распорядитель ухватился за стойку микрофона, будто ища опоры. А он вовсе не хотел человека обидеть, поэтому выжал из себя улыбку, и тут его как ударило: ведь нет никакой возможности объяснить этому человеку, почему так необходимо стоять тут и давить на кнопку до бесконечности.

— Идите сюда,— устало позвал он.

Распорядитель приблизился, катя по сцене громоздкую стойку микрофона.

— Кто угодно ведь может играть в это самое бинго, правда же? — обратился он к распорядителю.

— Разумеется, но...

Он улыбнулся, стараясь быть терпеливым с этим прилизанным, скользким на вид белым человеком в синей спортивной рубашке и в щегольски отутюженном габардиновом костюме.

— Вот и я так подумал,— продолжал он.— Кто угодно может сорвать банк, если у него окажется счастливый номер, так ведь?

— По правилам игры так, но все-таки...

— Вот и я так подумал,— не унимался он.— И самый большой выигрыш достанется тому, кто знает, как его взять, верно?

Распорядитель молча кивнул.

— Ну так вот, подите станьте вон там и не мешайте мне играть, как я хочу. Я никого не собираюсь трогать,— добавил он,— но я покажу вам, как надо выигрывать. То есть я всем покажу, всем на свете, как это делается.

Он снова улыбнулся (дескать, все понимаю!), давая знать этому человеку, что ничего не имеет против, хоть тот и белый и такой нетерпеливый. После чего вовсе отказался замечать распорядителя, стоял и жал на кнопку, а выкрики толпы доносились до него как шум с отдаленных улиц. Пусть себе орут. Всем неграм, сидящим там, стыдно просто, что он черный, вроде них. Он про себя улыбнулся, прекрасно их понимая. Частенько ему самому бывало стыдно за других негров. Ну, так на этот раз пусть будет им за кого-нибудь стыдно. За него хотя бы. Он словно превратился в длинную тонкую черную проволоку, которую растянули и мотают на колесо бинго, мотают до боли, до крика, только на сей раз он это сам, значит, с Лаурой все будет в порядке. Свет вдруг замигал. Его шатнуло назад. Случилось что-нибудь? А шум-то какой! Неужто им не понятно, что хоть он и управляет колесом, но ведь и колесо им управляет, и если он не будет жать, и жать, и жать до скончания века на кнопку, колесо остановится и все пойдет прахом, прахом все пойдет, и сам он обратится в прах, взметенный этим злым, бесплодным вихрем, и Лаура умрет. Выход у него один: надо

делать то, что от него требует колесо. И, отчаянно хватаясь за кнопку, он с удивлением обнаружил, что она наделяет его нервной энергией. В спинном мозгу пробежали токи. Он почувствовал прилив каких-то новых сил.

Теперь он эту разъяренную толпу презирал, и ее вопли раздражали его барабанные перепонки не более, чем взвизги трубы из какого-нибудь музыкального автомата. Вид лиц, смутно розовевших в отраженном свете экрана, давал ему самоощущение доселе неведомое. Он, он этим балаганом правит, господи! Им остается только подчиняться, потому что их удача — он. Это все я, подумал он. Пускай, сволочи, поорут. Потом внутри него раздался чей-то хохот, и он осознал, что каким-то образом забыл свое имя. Потерять имя — как тоскливо, томительно это чувствовать, и каково безумие это сделать! Имя он получил от белого человека, хозяина его дедушки, когда-то тоскливо и томительно давно, там, на Юге. Но, может, его имя эти умники знают.

— Как меня зовут? — выкрикнул он.

— Быстро давай, делай лото, ты, падло!

И они не знают, подумал он с грустью. Они и свои-то имена ни черта не знают, несчастные безымянные выродки. Ну и не нужно оно ему больше, это старое имя: он переродился. Ведь пока он давит на кнопку, он — Тот, Чей Палец На Кнопке, Тот, Кто Мечет Банк, он — Король Американского Лото. Так уж оно сложилось, и придется ему давить на кнопку, пусть даже никто не понимает, пусть не поймет даже Лаура.

— Не умирай! — закричал он.

Зал начал затихать, словно выключили огромный вентилятор.

— Лаура, не умирай, моя детка. Все у меня в руках, миленькая, не умирай!

Он выкрикивал это, и слезы струились по его щекам.

— Кроме тебя — у меня же — ни-ко-го!

Крики вырывались у него из самого нутра. К голове так прилила кровь, что появилось ощущение, будто у него не голова, а бейсбольный мяч с растянутыми швами, и в них

вот-вот проступит кровь, мелкими капельками, как у избитого дубинками полицейских. Нагнувшись, он увидел, что капля крови упала на носок ботинка. Свободной рукой ощупал лицо. Кровь шла из носа. Боже, не хватает еще сломаться! Такое чувство, словно весь зал, все эти люди залезли к нему в живот, изнутри пинают его ногами, и никак от них не избавиться, не выбросить вон. Хотите отнять у меня выигрыш, да? Хотят выведать его тайну. Ну нет, им не видать ее — он будет вращать лотерейное колесо до скончания века и спасет Лауру этим вращением. А вдруг уже поздно? Нет, если бы с ней случилось что-нибудь, колесо бы остановилось само, просто не могло бы крутиться. Надо отойти куда-нибудь, все из себя *выблевать*, а перед глазами картина: он с Лаурой на руках в тоннеле, бежит от поезда метро, бежит отчаянно — (*выблевать!*) — бежит, а ему кричат, чтобы сошел с дороги, но как сойдешь: остановишься — настигнет поезд, сомнет, а перейти на встречные пути тоже никак — там третий рельс под током, высоко, по пояс, сыплет голубыми искрами, они спят глаза, и уже ничего не видно.

Послышалось пение, в зале ладонями отбивали такт.

*Джимми выпил лишку —
Будет Джиму крышка!
— хлоп-хлоп-хлоп —
Ты нарезался с утра —
Вырубать тебя пора!*

Гнев и горечь поднялись в нем от этого пения. Они думают, я не соображаю. Ну пусть смеются. Буду делать то, что мне надо.

Он стоял неподвижно, весь обратившись в слух, и тут заметил, что все взгляды следят за чем-то, происходящим на сцене позади него. Накатила слабость. Но, оглянувшись, он никого не увидел. Хоть бы палец еще не болел так. Раздались аплодисменты. На секунду ему показалось, что колесо остановилось. Но это невозможно, ведь большим пальцем он продолжает давить на кнопку. Потом он их

увидел. Двое в форме кивали ему из угла сцены. Они направлялись к нему, шли в ногу, медленно, словно дуэт чечеточников, которые в третий раз возвращаются на бис. Но вдруг их вытянутые вперед руки оказались совсем близко, и он отпрянул, дико озираясь. Ничего подходящего для драки вокруг не было. У него был только длинный черный шнур, который шел к розетке где-то за кулисами и которым драться нельзя, потому что это шнур управления колесом. Он попятился, медленно, не спуская глаз с наступавших, а губы сами собой растягивались в напряженной, застывшей усмешке, обнажавшей зубы. Не дойдя до края сцены, он понял, что так ему далеко не уйти, потому что шнур вдруг натянулся. Не может же он рвать провод! Но что-то ведь делать надо. Истошно вопили зрители. Внезапно он остановился как вкопанный; сразу же и преследователи застыли, не завершив шага, с занесенными, словно в каком-то замедленном танце, ногами. Только и оставалось, что сменить направление, и он бросился вперед, оскальзываясь, чуть не падая. От неожиданности преследователи расступились. Угрожающе замахнувшись, он проскочил.

— Держи его!

Он побежал, но сразу же шнур натянулся, не пуская, и он опять побежал назад. И на этот раз он от них вернулся, заметив, что если бегать перед колесом кругами, то можно избежать рывков шнура. Но при этом ему приходилось махать кулаками, чтобы удерживать нападавших на расстоянии. Ну что бы им оставить человека в покое! Петляя, он продолжал бегать.

— Опускайте занавес! — раздался чей-то выкрик.

Но ведь нельзя же. Изображение колеса попадает на экран из проекционной комнаты, и занавесом отрезало бы луч. Но его поймали прежде, чем он успел сказать об этом, стали выламывать пальцы, пытаясь разжать кулак, а он боролся, норовя ударить коленом и цепляясь за кнопку, потому что в ней была его жизнь. И вот он на полу и видит, как опускается на его кисть чья-то нога, словно из

поднебесья, больно ее придавливает, а вверху безмятежно крутится колесо бинго.

— Не дам! — воскликнул он. Потом спокойно, доверительным тоном: — Ребята, ну правда же, не могу я отпустить ее.

Сильный удар по голове. Мгновение пустоты, и кнопку отобрали, окончательно и бесповоротно. Его пытались утащить со сцены, он отбивался и все поглядывал на колесо, крутившееся медленнее, медленнее, до остановки. Увидев, что колесо остановилось у двойного нуля, он не удивился.

— Вот видите, — сказал он с обидой, показывая на колесо.

— Ну ясное дело, парень, все о'кей, — с улыбкой отозвался один из нападавших.

Он увидел, что тот кому-то кивнул, кому — он не мог видеть, и так ему было хорошо, он был так счастлив: теперь он получит то, что получают все победители.

Но, радуясь восстановленной справедливости, залогом которой была эта натянутая улыбка человека в форме, он не увидел, что тот слегка повел бровью, как не увидел он и того, что кривоногий человек у него за спиной отшагнул из-под быстро опускавшегося занавеса и изготовился для удара. Он только почувствовал тупую боль, взорвавшуюся в черепе, и сверкнуло, чтобы тут же погаснуть, понимание: с удачей у него на этой сцене кончено.

Баталия

Началось это давно, лет двадцать назад. Всю жизнь я чего-то искал, и, куда бы я ни обратился, кто-нибудь непременно объяснял мне, чего я ищу. Я верил этим объяснениям, хотя они нередко противоречили друг другу, а иногда и сами себе. Я был наивен. Искал я себя, а вопросы задавал кому угодно, кроме себя, хотя ответить на них мог только сам. Много времени ушло и много надежд разлетелось прахом, прежде чем я понял то, что любому, кажется,

понятно с колыбели: что я — это я и никто иной. Но раньше мне пришлось сделать открытие, что я — человек-невидимка.

При этом я — вовсе не чудо природы или выкидыш истории. Появление мое было предрешено каким-то равенством (или неравенством) 85 лет назад. Я не стыжусь, что мои деды и бабки были рабами. Мне стыдно только, что раньше я этого стыдился. Восемьдесят пять лет назад им сказали, что они свободны и объединены с другими гражданами нашей страны во всем, что касается народного блага, а в общественной жизни самостоятельны, как пальцы на руке. И они поверили. Они ликовали. Они остались дома, прилежно работали и воспитывали моего отца, чтобы он жил так же. Но началось все с деда. Он был странный человек, мой дед; говорят, я пошел в него. С него начались неприятности. Перед смертью он позвал моего отца и сказал: «Хочу, чтобы после моей смерти ты продолжал мой славный бой. Я никогда тебе не говорил, но наша жизнь — это война, и я всегда, с тех пор как сдал в годы Реконструкции мое ружье, был предателем, лазутчиком во вражеской стране. Пусть голова твоя всегда будет в пасти льва. Подточи их услужливостью, размягни улыбками, ублажай их до смерти, пусть едят тебя, пока не подавятся или не лопнут». Решили, что старик помешался. Всю жизнь он был тише воды, ниже травы. Младших детей выгнали из комнаты, занавески задернули, фитиль в лампе привернули так, что огонек теплится слабее, чем жизнь в старике. «И ребят научи», — свирепо прошептал он; и умер.

На родственников его слова нагнали больше страха, чем его смерть. Словно он и не умер — так они переполошились. Меня строго предупреждали, чтобы я забыл его слова, — и в самом деле, здесь я их впервые повторяю вне круга семьи. На меня они действовали очень сильно. Что он хотел сказать, я до сих пор не вполне понимаю. Дед был смирным стариком, никому не досаждал и вот перед смертью назвался предателем и лазутчиком, а о смирном своем поведении говорил как об опасной деятельности.

Эта неразгаданная загадка глубоко засела у меня в голове. Когда дела у меня шли хорошо, я вспоминал деда и чувствовал себя не в своей тарелке, как будто я виноват. Как будто я невольно живу по его завету. И что еще хуже, меня за это все любили. Меня хвалили белейшие из белых в нашем городе. Мое поведение ставили в пример — как некогда поведение деда. А мне по-прежнему было невдомек, почему дед назвал его *предательским*. Когда меня хвалили за поведение, я чувствовал себя виноватым, мне казалось, я веду себя на самом деле не так, как им требуется, и если бы они понимали, то хотели бы от меня совсем другого: чтобы я был угрюмым и злым, вот что им нужно на самом деле, они просто обманываются, думая, будто им нравится мое поведение. Я боялся, что в один прекрасный день они разглядят во мне предателя и тогда я пропал. Но вести себя по-другому я боялся еще больше: это им совсем не нравилось. Слова деда тяготили меня как проклятье. Ко дню выпуска я подготовил речь, где доказывал, что смирение есть не только ключ к прогрессу, но и самая его суть. (Я, конечно, так не думал — с какой стати, если вспомнить деда? — я просто думал, что это выгодно.) Речь имела большой успех. Все меня хвалили, и я был приглашен выступить с ней перед нашими лучшими белыми гражданами. Это было событием в жизни общины.

Происходило оно в главном танцевальном зале лучшей гостиницы. Явившись туда, я узнал, что мое выступление приурочено к мужскому вечеру отдыха, и мне сказали, что раз уж я здесь, то неплохо было бы заодно принять участие в баталии, которой развлекут собрание мои однокашники. Баталия будет сперва.

Все городские тузы, в смокингах, поехали закуски, пили пиво и курили черные сигары. Зал был большой, с высоким потолком. Вдоль трех сторон разборного боксерского ринга ровными рядами стояли стулья. Четвертая сторона была открыта и выходила прямо на блестящий паркет. Между прочим, у меня были некоторые опасения насчет баталии. Не потому, что я не любил драки, а потому что не питал

особой любви к остальным участникам. Ребята эти были хулиганы и по завету моего дедушки жить не собирались. Вид их говорил об этом яснее ясного. А кроме того, я опасался, что участие в баталии уронит мой авторитет как оратора. В то время — до моей невидимости — я рассматривал себя как потенциального Букера Вашингтона*. Впрочем, остальные ребята — а их было девять человек — тоже не питали ко мне любви. Я считал себя в каком-то смысле выше их, и мне не понравилось, как нас запихнули вместе в лифт для прислуги. А им не понравилось, что меня везут с ними. Кроме того, пока мимо нас пролетали залитые теплым светом этажи, мне было сказано, что я, приняв участие в баталии, лишил одного из их приятелей вечернего заработка.

Из лифта через пышный холл нас провели в прихожую и велели переодеться в спортивную форму. Каждому дали по паре боксерских перчаток и отправили в большой зал с зеркалами; мы вошли туда, настороженно озираясь и разговаривая шепотом, чтобы нас случайно не услышали, хотя в зале было шумно. В воздухе плавал сигарный дым. И виски уже производило свое действие. Я с изумлением увидел, что многие городские знаменитости сильно под мухой. А собрались тут все — банкиры, адвокаты, судьи, врачи, пожарные начальники, учителя, торговцы. Даже один из самых модных пасторов. Впереди что-то происходило, но мы не видели что. Сладострастно заливался кларнет, зрители стояли или нетерпеливо продвигались в ту сторону. Мы сбились в кучку, наши голые торсы соприкасались и уже блестели от пота в предчувствии боя; а городских тузов все больше возбуждало какое-то зрелище, по-прежнему скрытое от нас. Вдруг я услышал, как директор школы, пригласивший меня сюда, закричал: «Подведите сапожков, джентльмены! Подведите сюда сапожков!»

* Вашингтон Букер Тальяферро (1856—1915) — идеолог негритянской буржуазии в США. Выдвинул программу обучения негров сельскохозяйственным наукам и ремеслам, призывая к отказу от политической борьбы.

Нас погнали вперед; здесь еще сильнее пахло табаком и виски. Наконец нас вытолкнули на место. Я чуть не обмочился. Море лиц, враждебных и довольных, окружало нас, а посредине, прямо перед нами стояла роскошная блондинка — в чем мать родила. Наступила мертвая тишина. Меня будто обдало холодным ветром. Я хотел попятиться, но сзади и с боков напирала ребятя. Некоторые из них потупились и дрожали. Меня охватило необъяснимое чувство вины и страха. Я весь покрылся гусиной кожей, зубы стучали, колени подгибались. Но я не мог оторвать от нее глаз. Если бы наказанием за это была слепота, я все равно бы смотрел. Волосы у нее были желтые, как у куклы; раскрашенное, в румянах и пудре лицо похоже на маску, ввалившиеся глаза подведены синим того же оттенка, что на заду бабуина. Взгляд мой полз по ее телу, а мне хотелось на нее плюнуть. Груды у нее были твердые и круглые, как купола индийских храмов, и я стоял так близко, что мог разглядеть фактуру ее шелковистой кожи и жемчужные капельки пота вокруг ее розовых съезжившихся сосков. Мне хотелось и убежать из зала, и провалиться сквозь землю; подойти к ней, телом закрыть ее от чужих и своих глаз; трогать ее мягкие бедра; ласкать ее и уничтожить ее; любить ее и убить ее; спрятаться от нее и погладить то место под маленьким американским флагом, вытатуированным пониже пупка, где бедра сходились с животом в треугольник. Чувство было такое, будто из всех присутствующих только меня видят ее равнодушные глаза.

А потом она начала медленный, сладострастный танец; дым сотен сигар льнул к ней, как тончайшая вуаль. Казалось, какая-то белокурая дева-птица, окутанная прозрачной пеленой, зовет меня с поверхности серого свирепого моря. Я ног под собою не чуял. Потом звук кларнета снова дошел до моего сознания и с ним выкрики городских знаменитостей. Одни пугали нас, чтобы мы не смели смотреть, другие — наоборот. Справа от меня один из ребят потерял сознание. Мужчина схватил со стола серебряный кувшин, плеснул на него воду со льдом и велел двоим поднять его

на ноги: он свесил голову, и с его толстых синеватых губ срывались стоны. Еще один стал проситься домой. Он был самый рослый в компании, и темно-красные боксерские трусы не могли скрыть того, что рвалось из них словно в ответ на низкие призывные стоны кларнета. Он пытался прикрыться боксерскими перчатками.

А блондинка все танцевала, слегка улыбаясь мужчинам, зачарованно наблюдавшим за ней, слегка улыбаясь нашему страху. Я заметил торговца, который следил за ней голодным взглядом, отвесив мокрую губу. Это был крупный человек с бриллиантовыми запонками и круглым пузом, и, стоило блондинке посильнее качнуть своими пышными бедрами, он проводил ладонью по жидким волосам и неуклюже подняв руки, как пьяный медведь, медленно и похабно вращал животом. Музыка заиграла быстрее. Блондинка металась все с тем же отсутствующим выражением лица, мужчины потянулись к ней руками. Я видел, как их толстые пальцы нажимают на ее мягкое тело. Другие пытались остановить их; она двигалась плавными кругами, а мужчины гонялись за ней, скользя и оступаясь на воценом полу. Это был сумасшедший дом. Они нагнали ее у самой двери, подняли на руки и подбросили в воздух, как подбрасывают в школе новенького, и, кроме застывшей улыбки на красных губах, я увидел ее глаза, полные отвращения и страха — почти такого же, как у меня и у некоторых ребят. Ее подбросили два раза, она вертелась, беспомощно раскинув ноги, а грудь ее будто расплющивалась о воздух. Те, что были потрезвее, помогли ей убежать. Мы с ребятами бросились назад, в прихожую.

Некоторые истерически плакали. На полпути нас остановили и велели возвращаться на ринг. Пришлось подчиниться. Все десятеро, мы пролезли под канаты, и нам стали завязывать глаза белыми тряпками. Когда мы выстроились вдоль канатов, один из зрителей, кажется, пожалел нас и крикнул что-то ободряющее. Кое-кто из ребят пробовал улыбнуться. «Видишь того парня? — сказал другой зритель. — Будет гонг, беги прямо к нему и дай ему в солнеч-

ное сплетение. Ты ему не влепишь — я тебе влеплю. Мне его физиономия не нравится». Каждому из нас говорили то же самое. Потом стали надевать повязки на глаза. Но я и тут повторял про себя речь. Каждое слово горело у меня в голове. Когда мне закрыли глаза, я нахмурился, чтобы потом можно было немного ослабить повязку.

И вдруг на меня напал слепой страх. Темнота была неожиданной. Я как будто очутился в темной комнате, населенной гремучими змеями. Кругом галдели, что пора начинать баталию.

— Кончайте волюнку!

— Дайте-ка мне этого здорового негра!

Я пытался различить в гаме голос директора школы — казалось, если услышу хоть какой-нибудь знакомый звук, будет не так страшно.

Кто-то завопил: — Пустите меня к этим черным мерзавцам!

— Нет, Джексон, нет! — завопил другой голос. — Эй, помогите мне держать Джексона.

— Дайте мне этого буланого ниггера. Руки-ноги ему поотрываю! — заорал первый.

Я стоял у канатов и дрожал. В те годы я был, что называется, буланой масти, и, судя по голосу, он готов был разорвать меня, как волк жеребенка.

Поднялась возня. Слышно было, что там задевают ногами стулья и кричат, словно от натуги. Мне хотелось видеть, нестерпимо хотелось видеть. Но повязка была тугая и толстая, как стянувший кожу струп, а когда я попытался сдвинуть ее перчатками, чей-то голос гаркнул:

— Не смей, черная морда! Не трожь ее!

— Дайте гонг, пока Джексон не убил этого негра! — прогремел чей-то голос во внезапной тишине.

Ударил гонг, и по брезенту зашаркали туфли.

Перчатка стукнула меня в голову. Я повернулся и неловко ударил кого-то, прошедшего мимо; удар отозвался в руке и плече. А потом мне показалось, что все девять ребят набросились на меня разом. Удары сыпались отовсюду.

ду, я отвечал как мог. На меня обрушилось столько ударов, что я подумал, не у одного ли меня на ринге завязаны глаза — или этот Джексон все-таки сумел ко мне прорваться.

С завязанными глазами я не мог собой управлять. Я потерял достоинство. Я спотыкался, как маленький ребенок или пьяный. Дым все густел, и при каждом ударе он словно обжигал и стягивал мои легкие. Слюна у меня превратилась в горячий, горький клей. Перчатка угодила мне в лицо, рот наполнился теплой кровью. Кровь была повсюду. Я уже не понимал, от чего мокро мое тело — от пота или от крови. Сильный удар пришелся в затылок. Я почувствовал, что падаю, голова стукнулась об пол. Черную вселенную внутри повязки прорезали голубые молнии. Я лежал ничком, симулируя нокаут, но меня схватили чьи-то руки и подняли рывком: «Работай, черный. Шуруй!» Руки налились свинцом, голова разбухла от ударов. Мне удалось добраться до канатов, и я вцепился в них, чтобы отдышаться. Удар в живот, и я опять упал, с таким ощущением, как будто дым стал ножом, распоровшим мне кишки. Ноги дерущихся пинали меня со всех сторон, но наконец я поднялся, и оказалось, что я вижу черные потные фигуры, колышущиеся в дымно-синем воздухе под барабанную дробь ударов, словно в пьяном танце.

Дрались исступленно. Ринг представлял собой хаос. Все дрались со всеми. Каждая группа существовала недолго. Двое, трое, четверо били одного, потом принимались бить друг друга, и на них нападали со стороны. Удары ниже пояса, по почкам, удары кулаками и раскрытой перчаткой; но одним глазом я уже кое-что видел, и теперь было не так страшно. Я передвигался осторожно, уклоняясь от ударов — но не от всех, чтобы не заметили, — и дрался то в одной куче, то в другой. Ребята двигались, как слепые, осторожные крабы, согнувшись, чтобы прикрыть животы, втянув головы в плечи; руки шарили в пустоте, кулаки в перчатках нервно трогали воздух, как шишковатые рожки сверхчутких улиток. В одном углу я увидел парня, яростно молотившего воздух; он ударил по столбику ринга и закричал от боли.

Я увидел, как он согнулся, держась за ушибленную руку, и тут же упал от удара в незащищенную голову. Я присоединялся то к одной кучке, то к другой, делал шаг вперед, наносил удар и тут же отступал, вталкивая в схватку вместо себя других, под удары, предназначавшиеся мне. Дым терзал легкие, ни гонга, ни раундов не было — никакой передышки. Зал вертелся вокруг меня — вихрь огней, дыма, потных черных тел и стена напряженных белых лиц. У меня шла кровь изо рта и носа, капала на грудь.

Мужчины вопили:

— Вмажь ему, черный! Вышиби из него дух!

— Апперкотом его! Кончай его! Кончай этого длинного!

Я нарочно упал, и тут же, как будто нас сбили одним ударом, рухнул другой парень. Нога в кеде въехала ему в пах: об него споткнулись те двое, которые его сбили. Я откатился в сторону, меня затошнило.

Чем яростнее мы дрались, тем больше свирепели зрители. А я опять стал волноваться за свою речь. Как она пройдет? Оценят ли меня? Чем наградят?

Я дрался механически и вдруг заметил, что ребята один за другим покидают ринг. Меня охватило удивление, потом паника, словно я был оставлен один на один с неведомой опасностью. Потом я понял. Ребята заранее сговорились. У них было принято, что последние двое в бою разыгрывают приз. Я понял это слишком поздно. Ударил гонг, двое в смокингах подбежали к канатам и сняли с меня повязку. Передо мной стоял Татлок, самый большой из компании. Сердце у меня упало. Не успел еще стихнуть в ушах первый удар гонга, как раздался новый, Татлок стремительно двинулся на меня, и я, не придумав ничего лучшего, ударил его прямо в нос. Он продолжал наступать, и с ним катился яростной волной острый запах пота. Черное лицо его застыло, живыми остались только глаза: в них была ненависть ко мне и ужас от того, что с нами сейчас происходило. Я испугался. Мне хотелось произнести речь, а он наступал с таким видом, как будто намеревался вышибить ее из меня. Я бил его изо всей силы и принимал его удары. Вдруг

меня осенило: я дал ему легкого тычка, вошел в клинч и шепнул:

— Ляг, а приз будет твой.

— Я из тебя душу выну,— тихо прохрипел он.

— Для них?

— Для себя, гад.

Нам кричали, чтобы мы расцепились; удар Татлока развернул меня кругом, и, как в кино, когда камера снимает с точки зрения падающего, передо мной в облаке сизого дыма понеслись красные лица с разинутыми ртами, от напряжения словно припавшие к земле. Мир заколыхался, спутался, потек, но через секунду в голове у меня прояснилось, Татлок опять запрыгал передо мной. А трепещущая тень у меня перед глазами оказалась его левой рукой, которая обстреливала меня короткими прямыми ударами. Снова повиснув на нем и вжавшись лицом в его потное плечо, я прошептал:

— Дам пять долларов сверху.

— Пошел ты!

Но мускулы у него немного обмякли, и я шепнул:

— Семь?

— Отдай их матери,— ответил он и засадил мне под сердце.

Я висел на нем, потом боднул его и сделал шаг назад. На меня посыпались удары. Я отвечал иступленно, но без надежды. Больше всего на свете мне хотелось произнести речь, потому что только эти люди, казалось мне, могут оценить мои способности,— а из-за какого-то шута все пошло прахом. Я стал действовать осторожнее и пользоваться своим превосходством в скорости: наносил одиночные удары и тут же отступал. Удачный удар в подбородок, и Татлок тоже поплыл; но тут раздался громкий голос:

— Я поставил деньги на большого.

Услышав его, я чуть не опустил перчатки. Что делать? Пытаться ли выиграть вопреки этому голосу? Как это отразится на моей речи? И не сейчас ли именно настал миг смирения, непротivления? Я механически продолжал пля-

сать по рингу, но удар в голову, от которого глаз у меня чуть не выскочил из орбиты, как черт из шкатулки, разрешил мою дилемму. Зал стал красным, я упал. Я падал, как во сне, тело томно и привередливо выбирало место для приземления, но полу это надоело, он рванулся мне навстречу и шарахнул. Через мгновение я пришел в себя. Усыпляющий голос с нажимом произнес: «ПЯТЬ». Я лежал и видел сквозь туман, как темно-красное пятно моей крови приняло форму глянцевого бабочки и впитывается в грязно-серое поле брезента.

Голос протянул: «ДЕСЯТЬ», меня подняли и оттащили на стульчик. Голова была дурная. Сердце стучало, при каждом его ударе глаз набухал, наливался болью, и я не знал, позволят ли мне теперь выступить. Я весь был мокрый, хоть выжимай, изо рта по-прежнему капала кровь. Нас собрали возле стены. На меня ребята не обращали внимания. Они поздравляли Татлока и рассуждали, сколько он получит. Разбивший руку плакал. Я поднял голову и увидел, что гостиничная прислуга убирает ринг и расстилает на освободившемся месте между стульями небольшой квадратный ковер. Может быть, на этот ковер меня вызовут для выступления, подумал я.

Потом распорядитель вечера позвал нас:

— Идите сюда, ребята, получите ваши деньги.

Мы подбежали к ковра, вокруг которого сидели, смеясь и разговаривая, зрители. Все были настроены дружелюбно.

— Деньги на ковре,— сказал распорядитель. В самом деле, ковер был усыпан монетами разной величины, и среди них лежало даже несколько смятых купюр. Но взволновало меня то, что среди монет там и сям блестели золотые.

— Все ваше, ребята,— сказал он.— Что схватите, то ваше.

— Не теряйся, Самбо! — доверительно подмигнув мне, сказал какой-то блондин.

Я дрожал от волнения, забыв даже, где у меня болит. Брать буду золотые и бумажки, думал я. Действовать обеими

руками. Надо протиснуться вперед соседей, телом заслонить от них золото.

— А теперь встаньте вокруг ковра на колени,— приказал распорядитель,— и ничего не трогать до моей команды.

— Это будет интересно,— услышал я. Мы расположились вокруг ковра на коленях, как нам было велено. Распорядитель медленно поднял руку в веснушках, мы не спускали с нее глаз. Я услышал:

— Можно подумать, эти негры молиться собрались.

— Приготовиться,— сказал он.— Марш!

Я кинулся к желтой монете, лежавшей на синем узоре ковра, коснулся ее — и завопил, вместе с остальными. Я хотел отдернуть руку, но ничего не получалось. Свиристая огненная струя пронизывала мое тело и трясла меня, как дохлую мышь. Ковер был под током. Волосы стояли дыбом у меня на голове, но я все же оторвал руку. Мышцы дергались, нервы будто гудели и скручивались. Но я увидел, что других ребят это не останавливает. Испуганно и смущенно смеясь, некоторые из них паслись сзади и сгребали монеты, отброшенные теми, кто судорожно пытался схватить их с ковра. Мужчины ржали, наблюдая за нашей возней.

— Собирайте, черти, собирайте! — крикнул кто-то голосом басистого попугая.— Ну, веселее!

Я быстро ползал по полу, охотясь за бумажками и золотыми, избегая медяков. Я быстро смахивал деньги с ковра и смеялся, чтобы не так больно било электричество,— как ни странно, оказалось, что я могу с ним справиться. Потом они стали вталкивать нас на ковер. Смущенно смеясь, мы вырывались у них из рук и продолжали охотиться за монетами. Нас было трудно схватить, мы были мокрые и скользкие. Вдруг я увидел, как парня, который лоснился от пота, словно цирковой тюлень, подняли в воздух и бросили мокрой спиной на электрический ковер; он закричал и буквально заплясал на спине, отбивая локтями бешеную чечетку; мускулы у него дергались, как у лошади, облеп-

ленной слепнями. Наконец ему удалось скатиться на пол; лицо у него было серое, и никто не попытался его остановить, когда он выбежал вон под оглушительный хохот.

— Берите деньги,— кричал распорядитель.— Это честная американская звонкая монета.

Мы гребли и хватали, хватали и гребли. Теперь я на всякий случай старался не приближаться к ковру вплотную; но вдруг на меня жарко дохнули сверху перегаром — словно окутав вонючим облаком,— и я ухватился за ножку стула. На стуле кто-то сидел, и я вцепился в нее изо всех сил.

— Пусти, черный! Пусти!

Надо мной нависло толстомягое лицо: он пытался оторвать меня. Но тело у меня было скользким, а он был чересчур пьян. Я увидел, что это мистер Колкорд — хозяин сети кинотеатров и «увеселительных заведений». Он хватал меня, но я каждый раз выскользывал из его рук. Завязалась настоящая борьба. Ковра я боялся больше, чем пьяного, поэтому ножку не выпускал — и с удивлением обнаружил, что, наоборот, пробую *его* опрокинуть на ковер. Замысел был чудовищный — но, кажется, я занялся этим всерьез. Действовал я незаметно, и тем не менее, когда я схватил его за ногу и попробовал свалить со стула, он с хохотом встал и, уставясь мне в глаза совершенно трезвым взглядом, с размаху заехал носком в грудь. Ножка стула вырвалась у меня из руки, и я отлетел кубарем. Я прокатился словно по жаровне с углями. Мне показалось, целый век пройдет, пока я скачусь с ковра,— целый век меня прожигало до самого нутра, до самого последнего испуганного вздоха, и вздох этот был палящим, раскаленным, как будто перед взрывом. Миг, и все будет кончено, подумал я, выкатившись за ковер. Миг, и все будет кончено.

Но нет: меня ждали с этой стороны — нагнувшись на стульях, апоплексически налившись кровью. Увидя протянутые пальцы, я откатился от них, как плохо принятый волейбольный мяч, откатился обратно на угли. На этот раз я, по счастью, сдвинул ковер с места и услышал, как

зазвенели на полу монеты, как ребята кинулись их подбирать, а потом — голос распорядителя:

— Ну все, ребята, хватит. Идите одевайтесь и получайте деньги.

Я лежал как мокрая тряпка. Казалось, всю спину исхлестали проводами.

Когда мы оделись, пришел распорядитель вечера и дал нам по пять долларов; Татлока за победу на ринге наградили десятью. Потом он велел нам уйти. Речь произнести не удастся, подумал я. С отчаянием в душе я выходил в темный переулок, как вдруг меня остановили и велели возвращаться. Я вернулся в танцевальный зал — люди там вставали со своих мест, собирались кучками, разговаривали.

Распорядитель постучал по столу, призывая к молчанию.

— Господа,— сказал он,— мы чуть не забыли один важный номер в нашей программе. Самую серьезную часть, господа. Этого молодого человека пригласили сюда выступить с речью, которую он приготовил ко вчерашнему выпускному вечеру.

— Bravo!

— Мне сказали, что это самый способный парень у нас в Гринвуде. Мне сказали, он знает больше умных слов, чем карманный словарь.

Аплодисменты и смех.

— Итак, господа, прошу вас уделить ему немного внимания.

Во рту у меня пересохло, глаз болел, а публика продолжала смеяться. Я начал медленно, но, наверно, еще не владел голосом, потому что раздались крики: «Громче! Громче!»

— Мы, молодое поколение, славим мудрость выдающегося вождя и просветителя,— выкрикнул я,— который первым изрек следующие пламенные слова мудрости: «Корабль, много дней скитавшийся по морю, вдруг завидел дружественное судно. На мачте злополучного корабля был вывешен сигнал: «Воды, воды! Умираем от жажды!» С дружественного судна ответили: «Черпните за бортом, там,

где стоите». Капитан терпевшего бедствие корабля внял совету, спустил ведро за борт и поднял его с прозрачной пресной водой из устья Амазонки». И подобно ему, я говорю, его же словами: «Тем, кто надеется улучшить условия своей жизни в чужой стране или недооценивает на Юге важность дружественных отношений с белым человеком, который является его соседом по дому, я скажу: «Черпайте там, где стоите,— смело вступайте в дружбу с людьми всех рас, среди которых мы живем».

Я говорил механически, но с огромным пылом, не замечая, что люди все еще смеются и разговаривают; потом мой разбитый рот наполнился кровью и я чуть не задохнулся. Я кашлянул, хотел прервать речь, подойти к одной из латунных урн с песком, но несколько человек — а главное, директор — все же слушали меня, и я побоялся. Проглотил все это — и кровь, и слюну, и прочее — и продолжал речь. (Сколько терпения было у меня в те годы! Сколько энтузиазма! Сколько веры в то, что мир устроен правильно!) Я заговорил еще громче, не обращая внимания на боль. Но они все равно болтали, все равно смеялись, словно глухие с грязными ушами, забитыми ватой. И я заговорил с еще большим жаром. Я не слушал их и все сглатывал кровь, так что даже затошнило. Речь будто удлинилась в сто раз против прежнего, но я не мог пропустить ни единого слова. Надо было сказать все, донести, передать малейший нюанс, хранившийся в памяти. Мало этого. Стоило мне произнести слово чуть подлиннее, как несколько голосов хором требовали повторить. У меня было выражение «социальная ответственность», и они завопили:

— Какое ты слово сказал, парень?

— Социальная ответственность.

— Что?

— Социальная ...

— Громче!

— ... ответственность.

— Еще раз!

— Ответ...

— Повтори!

— ... ственность.

Зал разразился хохотом, а я — наверно, оттого, что все время сглатывал кровь, — забылся и нечаянно выкрикнул фразу, которую постоянно осуждали в газетных передовицах и обсуждали в частных разговорах.

— Социальное...

— Что? — заорали они.

— равенство.

Во внезапной тишине смех повис, как дым. Я в недоумении огляделся. Зал недовольно шумел. Распорядитель выскочил на середину. Послышались враждебные выкрики. Я ничего не понимал.

В первом ряду маленький сухой человечек с усами крикнул:

— Еще раз и медленней!

— Что, сэр?

— То, что ты сказал.

— Социальная ответственность, — повторил я.

— А ты не крутишь, малый? — спросил он, в общем, беззлобно.

— Нет, сэр!

— Ты уверен, что «равенство» сказал нечаянно?

— Да, да, сэр. Я сглатывал кровь.

— Говори-ка помедленней, а то мы не понимаем. Мы тебя обидеть не хотим, но ты знай свое место. Ладно, давай дальше.

Мне было страшно. Хотелось уйти, но и говорить хотелось, а я боялся, что меня стащат.

— Благодарю вас, сэр, — сказал я и продолжал с того места, где остановился, по-прежнему не в силах овладеть их вниманием.

Однако, когда я кончил, раздался гром аплодисментов. К моему удивлению, на середину вышел директор с белым бумажным свертком в руках и жестом призвал собрание к тишине.

— Господа, как видите, я не перехвалил этого мальчишка.

Он произнес хорошую речь, и настанет время, когда он поведет свой народ по верному пути. Не мне вам объяснять, какое это имеет значение в наши дни. Это хороший, умный мальчик, и, чтобы поощрить его правильное развитие, от имени Совета по образованию я хочу вручить ему в качестве награды этот...

Он сделал паузу и, развернув бумагу, показал новенький портфель из телячьей кожи.

— ...этот первоклассный образец товара из магазина Шеда Уитмора. Мальчик,— обратился он ко мне,— возьми эту награду и береги ее. Развивайся в том же направлении, и когда-нибудь в него лягут важные документы, которые помогут определить судьбы твоего народа.

Я был до того растроган, что не сумел даже поблагодарить его как следует. Струйка кровавой слюны стекала на портфель, образуя лужицу в форме неоткрытого континента, и я поскорее стер ее. Я ощущал в себе такую значительность, какой не ощущал ни разу в жизни.

— Открой и посмотри, что в нем,— сказал он.

Вдыхая запах новой кожи, я дрожащими пальцами отпер портфель и увидел официальную бумагу. Мне предоставили стипендию для обучения в негритянском колледже штата. Глаза у меня наполнились слезами, и я выбежал.

Меня переполняла радость. И даже то, что золотые, добытые на ковре, оказались латунными жетонами с рекламой какого-то автомобиля, меня совсем не огорчило.

Дома все были взволнованы. На другой день к нам потянулись с поздравлениями соседи. Мне не страшен стал даже дедушка, чье предсмертное проклятье отравляло мне почти каждый праздник. С портфелем в руке я стоял под его фотографией и торжествующе улыбался, глядя в его черное невозмутимое крестьянское лицо. Оно меня завораживало. Куда бы я ни двинулся, оно не сводило с меня глаз.

В ту ночь мне снилось, что мы с ним в цирке, и, какие бы номера ни выкидывали клоуны, дед не желает смеяться. А потом он велел мне открыть портфель и прочесть, что там; я открыл, увидел официальный конверт с гербовой

печатью штата, в конверте был еще один, в том еще один, и так без конца, и я уже чуть не плакал от усталости. «Конверты — годы,— сказал он.— Теперь распечатай этот». Я распечатал и вынул гравированный документ с короткой золотой надписью. «Прочти,— сказал дед.— Вслух».

«Всем заинтересованным,— прочел я.— Пусть этот ниггер бежит, и не давайте ему передышки». Когда я проснулся, смех старика звенел у меня в ушах.

(Этот сон я хорошо запомнил, он снился мне потом много лет. Но в ту пору его смысл был мне еще непонятен. Мне пришлось сперва поучиться в колледже.)

Из больничной палаты — в подвалы пивной

Когда я проснулся, она стояла рядом и разглядывала меня. Ее недавно приглаженные волосы блестели, лоснились в ярком свете. Наутюженный синий халат топорщился от крахмала. Увидев, что я проснулся, она кивнула мне и расплылась в улыбке. Я весь сжался, ожидая подвоха. Но на этот раз пронесло. Ей хотелось вызвать меня на разговор — только и всего. И она так решительно взялась за дело, что кое-какие из вопросов, которые она выкрикивала, я, пожалуй, разобрал. Но я и свои-то мысли не мог облечь в слова, а уж прочитать по губам, что она говорит, и подавно. И вообще, кто она такая? И откуда у меня такое чувство, будто я давным-давно с ней знаком? Но о чем бы она меня ни спрашивала, видно, разговор она затеяла серьезный, и касался он нас обоих. Я оторопело глядел на нее. Смысл ее вопроса ускользал от меня. Она всплеснула руками.

— Да брось ты! — сказала она.

«Да брось ты!» Она стояла как вкопанная и, впившись глазами, разглядывала в ящике что-то невидимое мне. Что здесь происходит? А вдруг мне готовят еще какой-то подвох? Но она стояла надо мной неподвижно как каменная.

А ну как она опять плюнет на крышку? — с гадливостью подумал я. В голове у меня толпились видения грядущих бедствий. Во рту пересохло. Но она стояла надо мной все так же неподвижно, пока я не заметил, что ее руки чуть шевельнулись, и тут мне бросились в глаза ее натруженные пальцы — они с такой силой вцепились в крышку, что их кончики побелели от натуги, ладоней ее мне не было видно — их скрывала металлическая закраина.

Глядя перед собой отсутствующим взглядом, она еле слышно побарабанила по стеклу. Стук резко оборвался — ее пальцы, куда-то метнувшись, исчезли из моего поля зрения. Я не видел их ни сверху, хотя ее лицо по-прежнему маячило надо мной, ни внизу, где сквозь стекло виднелся стоящий колом синий халат. Наверно, они лежали на никелированной закраине ящика, там, где крышка присоединялась к боковине, — больше им вроде быть негде. Тут меня чуть не подкинуло — я увидел, как ее руки промелькнули вдоль боковины ящика. Послышался скрежет. Это еще что такое! Рехнулась она, что ли! Она отвинчивает винты. Страшная мысль: теперь не миновать беды — пронзила меня. Мною овладело смятение. Я вдруг почувствовал, что меня больше не тянет на свободу. А что, если она откроет ящик слишком рано? И я, чего доброго, останусь инвалидом? Что, если она по ошибке отвинтит не те винты и запустит аппарат в ход? Станный звериный рык заполнил ящик. Она стояла с таким видом, будто ей не привыкать вызволять пациентов из хитрых аппаратов, и это до того напугало и взбесило меня, что я стал рвать ремни, стягивавшие мои руки.

— Кончай, ну кончай же! — молил я, тщетно пытаюсь оборвать ремни.

Как мне ни хотелось освободиться, получить свободу благодаря темной, невежественной старухе я боялся. Где врач? Почему никто сюда не идет? Скрежет не прекращался. Она нахмурилась, прошипела «шшш», и рык смолк. Разогнулась, заговорщически глянула в ящик, раскинула руки по закраине и взялась за крышку.

— Брось, ну брось, — молил я, вжимаясь в дно ящика, и,

затаив дыхание, опасливо ждал — вдруг произойдет замыкание и меня ударит током, убьет насмерть, ждал, казалось, целую вечность, но, похоже, ждал напрасно. Крышка не струнулась с места. Даже искра не проскочила.

— Да брось ты! — прочитал я по ее губам.

Но тут она поднатужилась, снова взялась за крышку, и я закрыл глаза. Что-то скрипнуло, потом щелкнуло. Я поднял глаза. Тошнота накатила волной. Совсем близко от меня из-под крышки торчали ее набрякшие пальцы. Я смотрел, как ее пальцы упираются в тяжелую крышку, и, бог знает почему, меня стало мутить. Я не мог оторваться от их изрезанной морщинами, похожей на коричневый сафьян кожи, от блестящих, будто отполированных костяшек. Я видел, как пальцы выпрямились, затрепыхались, будто ноги какого-то гнусного, барахтающегося на спине насекомого. Онемевшие кончики их то краснели, то белели. Меня прямо так и подмывало цапнуть ее за палец. Но куда там! До нее было не дотянуться. Опять раздались какие-то странные звуки. Когда крышка начала приподыматься, у меня вырвался стон. Сквозь щель шириной в ладонь пахло эфиром, и меня чуть не вырвало. Поток воздуха включил термостат, но тут крышка качнулась, упала, и термостат отключился. Когда я увидел, как исказилось от боли ее лицо, я испытал разом и облегчение и отчаяние. На лбу у нее выступила испарина — крышка прищемила ей пальцы. Весь ее облик являл муку. Я слышал хриплое, надсадное дыхание. Видел, как на лице ее обозначились решительные складки, когда она, так и не высвободив пальцы из-под крышки — очень тяжелой с виду, — рассматривала боковину. Опешив, я глядел, как она взялась за крышку — губы сжались, на шее веревками натянулись жилы — и крышка, хоть и грозя тут же обрушиться назад, все же чуть приподнялась, а ее рука, скользнув по краю, резко вскинулась. Блестящий винт, тихо звякнув, встал между боковиной и крышкой. Не веря глазам своим, я глядел, как она выпростала пальцы и занялась другой стороной ящика. Но вот и второй винт стал на место — и она отступила, помахала пальцами и тяжело перевела дух.

В ящик хлынул свежий воздух, и в мыслях у меня появилась непривычная легкость. В чувствах моих царил разброд.

— Ну, каково? — спросила она, заглядывая в щелочку. — Я наперед знала: если постараюсь, открою эту крышку, чтоб ей пусто было. Чувствуешь-то себя как?

Я тупо тарачился на ее блестящие глаза.

— Мог бы и поговорить, — сказала она. — Ты чего в молчанку играешь? Или ты не в себе?

Я смотрел на ее лицо и чувствовал: со мной что-то творится. На кончике ее пальца, лежащем на закраине, проступила капля крови.

Темно-красная, как вино, подумал я все с той же легкостью в мыслях. Голос ее был мне странно знаком. Кто она? Пропавшая без вести родственница, кто-то из позабытой мною семьи, перебравшийся на Север и не оповестивший о своем новом адресе? Какая-то тетка, о существовании которой я не подозревал? Да нет, просто сумасшедшая, решил я, когда до меня дошло, что она натворила. Наверняка сумасшедшая, какие тут могут быть сомнения? И почему сюда никто не идет? Однако стояла тишина, лишь аппарат тихо охал и стонал — казалось, что и время еле тащится вслед за его заунывными стенаниями, перемежавшимися тихими вздохами. Вжимаясь в дно ящика, я втайне ожидал неминуемой беды, чувствовал: совершенно чудовищное преступление и его жертвой паду я. Во мне накопилась ярость.

— Слышь, сынок, — сказала она. — Ты что — чучело или человек? С виду ты вроде парень башковитый, так чего ж ты молчишь? И чего белые сунули тебя в этот ящик? Он же все равно как смирительная рубаха, только что железная.

Уши мои наполнил звон.

Она обвела машину взглядом и, поглаживая отдавленные пальцы, прыснула:

— А ты небось богатырь, иначе чего б они тебя в этот ящик засадили? Одно слово — богатырь! Они что, думают, у тебя силища, как у Братца Медведя или Джона Генри*?..

* Джон Генри — легендарный силач, герой популярной баллады. (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

Ну скажи же что-нибудь, дурень этакий!

И тут во мне что-то стронулось.

— А ты, ты, ты,— злобно заорал я, подыскивая ругательство пообиднее, и вдруг — огорошенный — замолчал: ко мне вернулся голос. Я говорю! На мои глаза невольно навернулись слезы. Злоба улеглась. Я посмотрел на нее — и она, похоже, поняла меня.

— Что ж, говорить ты можешь, и то спасибо,— сказала она.— Чувствуешь-то себя как?

— Хорошо,— хрипло выдохнул я.— Вполне хорошо.

— И что, они думают, с тобой такое?

— Я не помню, но если что и было, все прошло.

— Это как понимать — не помнишь? Ты в больнице лежишь, так или не так? Когда я в больнице лежала — у меня опухоль была. Они у меня чуть не все кишки повырезали, только без которых совсем нельзя, те оставили,— скромно добавила она.— Так что ты мне не заливай, будто ничего не помнишь.

— Ей-ей, не помню. Я почти все забыл.

— Что, что?

— Правда, у меня память отшибло. Начисто.

— Это ты брось, парень. Я тебе не доктор. И нечего мне заливать. Ты давно из наших мест?

— Не помню, но мне кажется, что не так давно.

Она с понимающим видом улыбнулась сквозь щель.

— А ты, поди, впопыхах из дому убежал. Да, не один ты такой, вас таких много. Но меня тебе не провести. Я слыхала, как сестры о тебе разговаривали. Говорили, за тобой все время психиатр приглядывает и еще какой-то, социалист он, что ли, или социолог, уж не упомню, кто он есть.

— Психиатр?

— Он самый. Я тут прибираюсь, а они входят — ну, я думала, животики надорву, они знай строчат вопрос за вопросом, а и дураку видно: где тебе через стекло им ответить? Тут я себе и скажи: а он паренек крепкий, крепче не бывает, просто валяется так, дурачит докторов. А так он поздоровей меня будет.

Я пытался связать ее высказывания.

— Сколько я здесь пробыл? — спросил я.

— Дней восемь-девять. Слышь, а ты есть не хочешь?

— Есть?

— Ну да, — она разогнулась, обвела взглядом комнату. — Тут никого досыта не кормят. — Снова склонилась к щели и сказала: — Я мигом обернусь. А насчет сестры ты не тревожься. Она к тебе не скоро пожалует — она там с молодым врачом милуется. Я враз обернусь.

Она ушла. Я слышал, как открылась и закрылась дверь. Вот оно что: значит, старикан с добродушной физиономией — это психиатр. А вдруг я спятил, спятил в этой отдельной палате, где лежу один-одинешенек. «Есть». В животе заурчало. От свежего воздуха у меня пробудился аппетит. Не ровен час, старушка Мэри добьется того, что мне придется торчать в этом ящике еще бог знает сколько, а ее самое рассчитают. Кто она такая, чего ради она так из-за меня старается?

— Держи, — сказала она, и сквозь щель мне блеснули ее глаза. — Только и нашла что консервы, зато в них настоящая свинина положена, а чего еще надо парню из наших мест?

Когда в щели показался аккуратный бутерброд, у меня потекли слюнки.

— Держи, — сказала она.

И тут нам обоим стало ясно, что бутерброд мне не достать.

— Мало того, что они парня в ящик засадили, — ворчала она, — так нет, ему еще и руки привязали. Ну-ка, ну-ка, — приговаривала она, пытаюсь протиснуться под крышку, чтобы высвободить мне руку. Но не тут-то было — щель оказалась слишком узкая.

Она покачала головой.

— Видать, придется мне кормить тебя самой, — сказала она. — Открой-ка рот.

— Что?

— Рот открой, вот что... Господи, вот не думала, не гадала,

что еще одного ребеночка кормить буду. И большого-таки ребеночка, норовистого!

Я видел: вот она отламывает от бутерброда кусок, вот просовывает пальцы под крышку. Меня покорило.

— Держи-ка,— прикрикнула она и разжала пальцы. Кусок бутерброда мелькнул у меня под носом — в этот миг я успел вдохнуть его запах и жадно вцепиться в него зубами. До чего же здорово! Вкус был странный и в то же время знакомый. До того здорово, что я проглотил злость вместе с хлебом и нетерпеливо ждал, когда же она бросит второй кусок. Она пристроилась рядом с ящиком, поглядывая на меня с таким довольным видом, будто и впрямь кормила ребенка.

Я жевал и чувствовал, как распространяется во рту вкус мяса и сладковатый крахмальный вкус хлеба. Не успел я проглотить один кусок, как она бросила второй.

— Эк наворачивает,— сказала она.— Тебя, как я погляжу, голодом заморили. Ну и стосковался тут, один лежамши. Это точно, что тебе на люди надо. Но и всё тут, а больше, как я погляжу, тебе ничего и не надо.

Я жевал бутерброд, а в голове у меня вертелось: «Если бы это было всё». И нельзя сказать, чтобы я стосковался по людям, да и как я мог по ним стосковаться, если я никого не помнил. Если я по чему и стосковался, так только по моему, каким бы оно ни было, имени, которое я никак не мог вспомнить. А что, если меня зовут Джук Хлюст, подумал я, или Болван Облом, или мистер И. Ди. Напролом?

— Сынок, а ведь ты дурака валяешь — кто не помнит, как его зовут? — сказала она, будто читала мои мысли.

— Нет, я и правда не помню.

— Пусть так, только что ты будешь делать, когда тебя переведут в другую больницу?

— Другую больницу?

— Во-во. Они тебя перевести хотят. Они намерены промеж себя разговаривали, а я слыхала.

Глядя в ее сияющие сквозь щель глаза, я чувствовал, что лечу в бездонную пропасть. Я не сомневался, что все это

происходит наяву, и вместе с тем ощущение было такое, словно я сплю.

— Они хотят поглядеть на тебя подольше,— говорила она,— понять твою хворь.

— Мне надо отсюда уйти,— сказал я.— И поскорее.

— Да куда ты пойдешь, сынок. Ты совсем ослаб,— урезонивала она меня.

— И вовсе я не ослабел.

— Как не ослабнуть — ослаб, конечно. Еще бы, столько пролежать.

— Да не ослабел я,— упорствовал я.— Просто у меня руки привязаны.

Она поглядела на меня.

— А и верно.

— А я что говорю? Потому и кажется, что я ослабел. Не будь у меня руки привязаны, я б вам показал, что я ничуточки не ослабел.

Она заколебалась.

— Зря ты переполошился,— сказала она.— Они тебя, поди, только на следующей неделе переведут, не раньше.

— А вы точно знаете?

— Куда уж точнее.

— Мне надо отсюда выбраться,— сказал я.

— Сынок, за тобой небось какой-то грех есть?

— Грех?

— Ты мне откройся. От меня таиться нечего,— участливо сказала она.

— Наверно, есть. Как не быть,— сказал я.— Вот только что это за грех — я припомнить не могу.

— Да брось! Мне-то зачем заливать?

— Да нет, я правду говорю.

Она недоверчиво замотала головой, но промолчала.

— Послушайте, а вдруг они хотят меня убить?— сказал я.— Меня тут никто не знает. Так что они могут со мной расправиться, и никто и не пикнет.

У меня першило в горле — я закашлялся. И так зашелся кашлем, что уже не мог остановиться.

— Погоди, я тебе попить принесу,— сказала она.— Я враз обернусь.

Мне необходимо выбраться отсюда, но как это сделать? Если б только она отвязала мне руки! Может быть, у меня и голова работала бы лучше. Надо выбраться отсюда: меня мучил страх — а вдруг из этого аппарата, к которому я уже успел привыкнуть, меня поместят в другой, еще теснее и страшнее? И тогда уж мне конец. Если б только она отвязала мне руки, думал я, а тем временем она принесла воду.

— Держи.

Но едва она поднесла стакан к щели, как я понял, что он не пролезет в щель, и тут меня осенило.

— А как тебя поят? — спросила она.

— Через трубочку — ее просовывают сквозь крышку,— сказал я.

— Нет здесь никакой трубочки. И куда, интересно, они ее подевали?

— Не знаю,— сказал я и притворился, что меня бьет кашель.

Она опасливо огляделась вокруг, потом попыталась просунуть стакан в щель. Я кашлял не переставая.

— Похоже, придется открыть эту штуковину пошире,— недовольно буркнула она, отошла поставить стакан, вернулась и взялась за крышку. Крышка не поддавалась. Я захлебывался кашлем, хватал ртом воздух. Она снова принялась за крышку.

— Побыстрей, если можно,— выдавил я между приступами кашля. Но крышка оказалась слишком тяжелой. Она остановилась, шумно перевела дух, взгляделась в мое перекошенное лицо. Теперь я уже и хотел бы да не мог остановиться. Я кашлял и кашлял — слюна фонтаном летела на стекло.

— Отвяжите мне руку,— с трудом выдохнул я.— И я помогу вам поднять крышку...

Она, ни слова не говоря, попыталась протиснуть свою руку в ящик.

— Где ремень?

— Здесь, под простыней,— прохрипел я, брызгаясь слюной.

— Сроду в такие щели не протискивалась,— сказала она.

Я видел, как ее рука просовывается все дальше. И вот уже ее пальцы коснулись моего плеча.

— Молодчина! — радостно вырвалось у меня.

— А то нет,— выдавила она, натужно сопя.— Тебя вроде кашель бил, нет разве?

Я чуть не прыснул и, пытаюсь удержаться от смеха, вновь зашелся в кашле.

— Ладно, ладно, я тебя вот-вот отвяжу. Я-то думала, ты хотел надуть старуху Мэри.

— Нет, нет,— выдохнул я, чувствуя, как ослабевают ремни, стягивающий мою левую руку. И тут услышал — стакан звякнул о железо.

— Ну вот,— сказала она и разогнулась.— Вот так-то.

Сотрясаясь в кашле, я попробовал поднять левую руку. Жгучая боль молнией прострелила ее от кисти к плечу — такая боль бывает, когда со сросшейся руки снимают гипс. Я даже кашлять перестал.

— Ну-ка,— сказала она.— Дай я тебя попою, пока на тебя кашель снова не напал.

— У меня рука как чужая,— сказал я.

— Еще бы не чужая. Сколько ты лежнем лежал?

Я согнул, сжал пальцы, снова потянулся за стаканом — куда там. Ощущение полной беспомощности нахлынуло, накатило на меня. Рука не поднималась. Она лежала рядом, а я смотрел на нее и чувствовал себя так, будто меня выпотрошили. Казалось, из руки извлекли кость и она превратилась в дряблую, серую, атрофированную массу. Я подвигал пальцами — они еле шевелились. Чувство полнейшей опустошенности, стыда овладело мной.

— Давай, сынок,— она держала руки на крышке, изготовясь поднять ее по моему первому знаку. Меня подмывало отвернуться.

— Да ты что?

— Не могу,— сказал я.

- Чего не можешь?
- Не могу поднять руку.
- Ты не стараешься. Не будь размазней — поднатурься.
- Я стараюсь. Сил нет.
- Ну-ка поторапливайся, мне пора уходить,— уже раздраженно сказала она.— Вот-вот сестра нагрывает.
- Не пойму, что стряслось с рукой,— сказал я, стиснул зубы, напряжился.— Смотрите, я правда стараюсь.
- От усилий я весь вспотел, плечо заныло, но рука по-прежнему лежала студенистой серой массой.
- Сколько живу на свете, а не видела, чтоб парня так отделали... За какие такие проступки тебя сунули в ящик, рассказывай, как на духу, иначе мне тебе не помочь.
- Сам не знаю,— сказал я.
- Без лишних слов она потянулась к одному из винтов, подпиравших крышку.
- Я пойду. Кто мне не верит, тому я помочь не могу...
- Погодите,— сказал я: мысль о том, что я останусь один на один со своей немощью, исполнила меня ужасом.
- Недосуг мне,— холодно сказала она.
- Ну, пожалуйста, я вам все расскажу,— взмолился я, не зная, чем еще ее удержать.
- А мне уже и не больно интересно,— сказала она и вытащила винт.
- Ну, пожалуйста.
- Нет, ты мне все врал.
- Не сердитесь,— сказал я.— Я боялся.
- Это ты белым заливай, парень. Они страсть как любят такие байки. Вот они уши и развесят... Вас, нынешних черных парней, ничем не испугаешь...
- А я правда испугался.
- Мне пора,— сказала она и выдернула последний винт.— Молодые парни теперь такие пошли, ни бога, ни черта не боятся.
- Не уходите, хоть еще минуту,— упрашивал я.— Я не мог иначе...

— Чего это ты не мог?.. Да ну тебя, парень. Сказано тебе — недосуг мне с тобой возиться. Другим разом расскажешь.

— Я не мог иначе — он сам нарывался...

— Недосуг мне... Это кто же нарывался? — спросила она. Глаза ее сузились щелками.

— Да тот мужик.

— Какой мужик?

— Белый.

— Белый?

— Ну да,— сказал я. От отчаяния из меня сыпались первые попавшиеся слова.— Он нес буханку хлеба...

— Хлеба, говоришь?

— И еще бутылку...

— Вот как... А еще что? — спросила она подозрительно.

— Какую-то штуковину вроде микроскопа,— сказал я. В памяти моей всплыли инструменты, с которыми ко мне приступались врачи.— Я пробежал мимо переулка, а он меня остановил.

— Да ну? А ты что?

— Он мне что-то сказал, только я не разобрал что, и ну за мной...

— Врешь!

— Не вру,— сказал я, не спуская глаз с ее лица.— Он припустил за мной, и еще микроскопом размахивал, будто хотел меня стукнуть.

— Вот как. А потом что?

— Ну, я вижу, он меня вот-вот догонит, и как заору: «Не подходите! Не подходите!»...

— А он? Неужто и тут не остановился?

— То-то и оно, что не остановился...

— Ну а ты что?

— Тут я вижу, на земле бутылка валяется, хватить ее...

— Ну а он что? И тут не остановился?

— Нет,— сказал я. Мне вдруг померещилось, что я рассказываю действительное происшествие, когда-то, где-то случившееся со мной.— Нет, тут он остановился как вко-

паннный и огляделся по сторонам. В темноте я видел веснушки на той его щеке, на которую падал свет. А он и говорит: «Посмотри на меня, черный парень, и скажи: кто я такой?»

— Кто он такой? — Она сосредоточенно сдвинула брови.

— Ну да... и я...

— А ты ему что?

— «Вы белый человек, сэр», — говорю. У него глаза загорелись, он засмеялся и говорит: «Правда твоя. А еще кто я такой?» А откуда мне знать? Я и говорю, мол, не знаю, сэр. Тут он и разозлился и говорит: «Ты, парень, не валяй дурака. Вам, черным парням, только бы дурака валять». А я ему: «Я правду говорю, сэр». А он мне: «Ладно, пусть так. Значит, я белый человек, а ты кто такой?»

— Ну и ты ему что?

— А я ему: «А я цветной, сэр», но он еще сильнее обозлился... И лицо у него прямо на глазах стало темнее тучи.

— Ну да. Он небось хотел, чтобы ты себя ниггером обозвал. А какой он с виду-то был, сынок?

— Я его толком не разглядел — он в тени стоял... на него плохо падал свет... А потом лицо у него озлело и стало дергаться, будто у него тик.

— А дальше что?

— А дальше он и вовсе разбушевался и говорит: «Правда твоя, ты вонючий черный подонок, да еще небось от сифилиса насквозь прогнил, а я белый, и что я тебе скажу, то тебе и положено исполнять. Понял?..»

— А ты что?

— Ничего...

— Тебе бы этого старого пердуна бутылкой стукнуть... Эти белые, они вот где у меня сидят... Уж я б на твоём месте...

— Я думал проскочить мимо него — авось он меня не поймает, а он сунул руку в карман и вытаскивает пачку денег. «А теперь, — говорит, — ты, ниггер, стой смирно, а я тебе положу в карман двадцать долларов». Гляжу я на него и вижу, угол рта у него дерг-дерг и голос дрожит. Сколько лет на свете живу, никогда не слышал такого голоса...

— А дальше что?

— Тут он мне и говорит: «Видишь двадцать долларов — бумажка настоящая, без обмана — они твои». А я ему: «Не надо, сэр. Благодарю вас, я спешу на работу». Он поглядел на меня и говорит, тихо так: «Зря ты кочевряжишься, парень». А я ему: «Извините, сэр, мне на работу пора...»

Она недоверчиво склонила голову набок.

— Парень, а ты не врешь? — спросила она.

— Не вру. А он мне: «Ниггер, тебе что, неприятностей захотелось?» А я ему: «Нет, сэр. Мне неприятности не нужны». А он мне: «Нет, ты сейчас нарываешься, и еще как нарываешься. Сроду не видел, чтобы ниггер так нагло нарывался». — «Что вы, зачем мне неприятности, сэр?» — «Тогда иди быстрее сюда, держи деньги...» — «Нет, сэр, я боюсь ...» — «Да чего ты боишься?» — «Не знаю... Наверно, того, что деньги эти я не заработал, сэр». А он мне: «Не заработал, так заработаешь, — поглядел на меня и ну хохотать. — Это не твоя печаль, а моя, ниггер, — и говорит, зло так: — Я тебя в другой раз спрашиваю: что я за человек?» — «Вы, сэр, белый», — говорю я. «Больше тебе нечего сказать?» — «Нечего, сэр». Он, похоже, задумался... «А разве мамка твоя не говорила тебе, что белых нужно слушаться?» — «Говорила, сэр». — «И ты что, не знаешь, я могу так сделать, что тебя излупцуют за милую душу?»

— Ну и ну, а ты что, парень? — прервала меня она.

— Гляжу я на него и думаю: а что, если с ним подраться? И еще думаю: а что, если проскочить мимо него? Он такой маленький, щуплый и лицом недурной, только по лицу видно, что его здорово колотили. Я и говорю ему: «Воля ваша, сэр, только я ничего плохого не делал...» А он мне: «А кто ничего не делал, его тоже можно отлупцевать. Будто ты того не знаешь?» — «Знаю, сэр, как не знать...» — «Вот загляну в забегаловку на углу, где сидит шоферня, шепну им пару слов, и что тогда? Только не хотелось бы мне, чтоб ты меня до этого доводил», — говорит. Тут я перепугался и попросил его: «Подождите, пожалуйста, до субботы, сэр, я всегда по этой улице хожу, а в субботу мне торопиться

некуда...» — «Ну нет,— говорит он.— Со мной этот номер не пройдет. Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Среди вас, черных парней, много таких, что больно умничают. Но я вас насквозь вижу. И потому ты бы мне лучше не перечил, а взял деньги. У тебя небось двадцати долларов сроду не было».— «Не было, сэр».— «А теперь будет. Стой смирно»,— говорит и прямым ко мне...

— Ну а эта штукавина, как ее там... всё у него в руках?

— Микроскоп-то? А как же...

— А ты что?

— Ну тут-то он у меня и получил.

— Как получил?

— Я не знал, что мне делать. Он все шел и шел на меня, а я все просил его остановиться, а он все не останавливался, и я решил — шмыгну-ка я мимо него, а он и говорит: «Смотри не умничай. Я тебе в придачу еще и микроскоп дам. Мне он больше не нужен». А деньги уже скрутил в катышек, такой, как шарик из жеваной бумаги, и этак неспешно вертит его в руках. «Я тебя и задержу-то на минуту, не больше»,— говорит и — хватя меня, а я как махну бутылкой и дал деру...

— Ты его ударил?

— Выходит, что ударил.

— И убил? Ты как думаешь, ты его насмерть убил? — разволновалась она.

— Я тогда как дал деру, так с тех пор и бегу без оглядки.

— И далеко убежал, сынок?

— Далек.

— Небось и на товарняках и на чем только не ездил?

— Не хочу об этом и вспоминать,— сказал я.— Мне надо отсюда выбраться. Теперь вам понятно, почему я должен выбраться отсюда?

— Чего тут не понимать.— Она серьезно посмотрела на меня.— Еще как понимаю. Ты небось или убил его, или здорово покалечил, и они тебя ищут... Я тебе вот что скажу: сегодня уже ничего не поделаешь — мне пора уходить, а сюда, того и гляди, сестра заявится.

— Значит, вы мне не поможете?

— Помогу, а то как же. Только не сегодня. Ты лежи смирнехонько, будто бы и знать ничего не знаешь, а завтра я вернусь и помогу тебе выбраться.

— Но они могут меня отсюда перевести,— упирался я.

— Не могут. Они хотят тебя перевести только на следующей неделе, а пока что потерпи. И потом, что бы тебе мне сразу не открыться?

Я и слова сказать не успел, а она опустила крышку, завинтила винты, и безмерная тоска навалилась на меня. Завинтив крышку, она постояла, приглядываясь ко мне. И вдруг ни с того ни с сего давай делать мне знаки — тыкать в ящик. Я похолодел: оказывается, она забыла прикрыть мне руку и теперь моя рука, голая, немощная, лежала на виду. Она делала мне отчаянные знаки, но мои руки отказывались повиноваться. Она еще пожестукулировала, потом так же внезапно утихомирилась, к чему-то прислушалась и поспешно удалилась — лицо у нее было совсем убитое. Я кипел от злости. Теперь все раскроется. Она кинулась прочь из комнаты так, словно слышала чьи-то шаги. Собрав всю свою волю, я посмотрел на руку — хотел заставить ее покориться мне. Но рука своевольничала, не желала подчиняться. Я-то думал, мне отвяжут руки — и я свободен, но не тут-то было: свобода была так же далека от меня, как и раньше, а может быть, и еще дальше того. Я корчился, извиваясь точно раздавленный червяк, глядел, как взмокшая от пота простыня липнет ко мне, будто ее клеем намазали, и меня разбирала бессильная ярость. Вскоре с меня ручьями тек пот. Если б только перевернуться на бок... Или на живот! Что бы старушке Мэри не быть сестрой, лаборанткой, врачом? А еще того лучше законником — вот кто меня мигом освободил бы. Вот это была бы настоящая помощь, а так по ее милости мне стало еще хуже, чем раньше. Я оцепенел.

От напряжения слух мой так обострился, что даже сквозь звуконепроницаемые стены ящика я услышал, как она вошла в комнату. Все кончено, подумал я, теперь все кон-

чено. Она нависла над моей головой в раме пустого пространства, в руках у нее была бутылка с камфарным спиртом. Сегодня она была не похожа сама на себя, лицо ее горело, словно по нему расплзся кровоподтек или оно вдруг покрылось персиковым пушком, помада размазалась. Я приглядываясь к ней. И хотя она как будто смотрела прямо на меня, она не видела меня. Да она мечтает наяву, поразила я. Видно было, что она вся во власти какой-то упоительной мечты. Я ждал, что она взовьется, стоит ей увидеть мою нахально открытую руку. И заранее крепился, ожидая, что она, того и гляди, испустит истошный вопль и сюда повалят лаборанты и врачи. Но она смотрела словно сквозь меня! Я следил, как она записывает показания приборов так, словно глаза ей застила сладостная пелена. Уж не подлаживает ли она меня: хочет притупить мою бдительность, а потом поднять тревогу? А вдруг она напугалась и собирается позвать на помощь, уже когда подобру-поздорову уйдет из комнаты?.. Будь крышка открыта, подумал я, я бы мог упросить ее или припугнуть. Покончив с записями, она бережно, как драгоценный сосуд, поднесла руку к свету и, красиво изогнув пальцы, восторженно впились глазами в сыплющийся огненными искрами камешек. Я глазам своим не верил! Словно впад в транс, она мечтательно улыбалась блестящему огоньку, будто тот нес ей невесть какую радость; потом, прикрыв глаза, томно повела головой из стороны в сторону — обмирая, отдаваясь; потом, как танцовщица в вихре пляски или ребенок, завертевшийся юлой, качнулась к ящику, скользя плавно, словно в вальсе, губы ее маняще приоткрылись, будто она подставляла их кому-то незримому для поцелуя. Да что же это такое происходит? — подумал я. Ее было не узнать! На моих глазах она преобразилась, обратилась в ту девушку, что смотрит на нас с пестрых рекламных плакатов, с бесчисленных кинолент. Мне не верилось, что я вижу то же самое вполне заурядное лицо. Оно было разом и прелестным и нелепым; нелепость как бы проявляла его прелесть, и она, видно догадываясь об этом, все глядела, не могла наглядеть-

ся на свое отражение в сверкающем камне. Сияющая, с горящими щеками, она замерла, словно прислушивалась к внутреннему голосу, потом движениями, такими ласковыми, будто исполняла роль самоотверженной сестры в пантомиме, проверила, какое давление в камере, поглядела на меня ничего не видящими глазами и ушла, так и не заметив произошедших во мне перемен.

Давление понижалось, я противился ему, не в силах отделаться от ощущения, что видел нечто запретное и теперь, хоть я и не понял, что все это значит, я погибну...

Тут я проснулся, да так резко, будто меня бросили в ледяную воду. Над ящиком склонилось двое врачей, один держал в руках какой-то схожий с микроскопом прибор, смертоносно уставивший на ящик свои оба глаза. Украдкой покосившись на свою руку, я стал наблюдать за ними. Тело у меня онемело. Но они, как ни странно, ничего не замечали. Их всецело занимал прибор (один наводил на резкость, другой делал записи), и я ждал, когда прибор оповестит их о том, чего не заметили их глаза. Но все равно, хоть я и был всего в метре от их линз, они ничего не замечали. Мне стало не по себе. Почему они ничего не говорят? Неужели не видят, что у меня отвязана рука? Но они не трогались с места. Я подождал, злость и возмущение накипали во мне. Они нарочно не обращают на меня внимания! Нарочно держат меня в напряжении! А на самом деле они украдкой потешаются надо мной! И чего только они нос дерут, шушера белая! Меня душила злость. Мне удалось освободиться, пусть и не совсем, а им это явно не по душе, вот почему они отказываются меня замечать. Хотят унижить пообиднее! Тут мне открылось, что на самом деле я теперь ничуть не свободнее, чем раньше, уже хотя бы потому, что они не признают меня свободным, и беззвучная ярость захлестнула меня. А вот если б они признали меня свободным, если б им почудилось, что я свободен, вот тогда бы, хоть я и торчу в ящике и отвязана у меня всего одна рука, тогда бы я и впрямь был свободен. Это ясно как день! Вот сволочи! Они пригвоздили меня своими глазами, точно

бабочку булавкой. Я глядел на сверкающие линзы, на лоснящиеся лбы под шапками светлых волос, на невозмутимые лица. И до того разозлился, что рука моя сама собой сжалась в кулак, а ведь я уже забыл, как это бывает. И тем не менее кулак лежал рядом, топорщился костяшками. Я поднял глаза на врачей, думал, теперь-то они забьют тревогу. Ничего подобного. Они лишь энергичнее засуетились у своих приборов. И пусть у меня рука голая, пусть я сжал кулак, они не желали ничего замечать. Я сдался и закрыл глаза — только бы не видеть их.

Мысли мои обратились к Мэри. Куда она подевалась? Я обозлился на нее: раз она не могла освободить меня совсем, нечего было ей впутываться — только еще хуже сделала. Но как я ни злился, я жаждал увидеть ее. Я представлял, как она возвращается, чудесным образом превратившись в молодую румяную сестру; сестра эта отлично разбирается в хитром механизме прибора, но почему-то хочет мне помочь. Да, она придет, откроет ящик, и на меня повеет не запахом эфира или дезинфекции, а неуловимым ароматом чистоты. Она полностью освободит меня, мои немощные руки и ноги окрепнут, нальются силой, и я уведу ее с собой — вот только куда, я и сам не знал. Какая, интересно, сейчас погода? И что сейчас — осень, зима или какое-то малопонятное время года между зимой и весной? Но нет, не бывать тому. Особенно теперь, когда они заметили, что я отвязал руку, и даже виду не подали. Нечего ждать Мэри — она не вернется ни в своем, ни в каком другом обличье. Скорее всего ее уже рассчитали — как ей после этого вернуться? Мне ничего другого не остается, как вылезти из ящика и выбраться из больницы. А что, если я голый — рука-то у меня голая! Ну и пусть, это меня не остановит, раз так, хоть нагишом, а все равно выберусь отсюда, а уж там раздобуду во что одеться...

Но легко сказать — выйду! А что, если ноги у меня так же ослабели, как и рука,— тогда я тут же брякнусь! Но ничего не попишешь, придется рискнуть. Тут снова забренчали ключи, я поднял глаза, увидел Мэри. И до того обрадовался,

что меня даже слеза прошибла. На этот раз она не стала тратить время и перекрикиваться со мной через стекло, а сразу отвинтила винты и взялась за крышку. От волнения я совсем забыл, что рука у меня не действует, и, к своему удивлению, обнаружил, что толкаю крышку изнутри — помогаю Мэри.

— Ты лежамши поднакопил силенок,— сказала она.— А намедни ты только и мог, что есть, а больше ни на что не годился.— Она подмигнула.

— Вас долго не было.

— Небось боялся, что я не вернусь?

— Не без того.

— Я посылала, чтобы мне одну штуквину для тебя из дому принесли. А они и задержись.

— За чем вы посылали?

— Да за одной штуквиной — она тебе сил прибавит.

— А ее надо принимать внутрь?

— А то как же. Это наше семейное лекарство, его моя мама дала мне.

Уж не подтрунивает ли она надо мной?

— У вас есть мама? — спросил я.

— А как же. А у тебя разве нет? Мать, она у всех есть.

— Верно, только я думал...

— Знаю я, что ты думал,— думал небось, что моей матери давно бы помереть пора. Ан нет, мама моя живехонька, ей, слава тебе господи, скоро сто четыре года стукнет, а она и слышит дай бог всякому, и без очков видит, и зубы у нее получше моих.

— Она, наверно, необыкновенная женщина.

— И мы так считаем,— сказала она,— а уж умная какая. А певунья какая была, а какие урожаи собирала — всем на зависть, да и теперь что в кореньях, что в травах, что в повивальном деле лучше ее никто не понимает. Вот,— сказала она,— держи, глотай!

Я увидел, как она сунула руку в карман фартука.

— Вот за чем я к маме посылала. У тебя теперь враз силы прибавятся. Глотай-ка быстрее.

Я пригляделся к лекарству. Оно было зеленое и походило на сухие, но почему-то сохранившие свой цвет виноградные листья, скатанные в шарик.

— Глотай-ка скорей.

Я смотрел на шарик. Мне хотелось и отказаться от лекарства, и принять его. Я не мог оторвать от него глаз. По верхнему листу разветвлялись прожилки, похожие на дерево, чьи корни и крона скрывались внутри шарика... «В чем дело, парень, ты что, испугался?» Вид у ее снадобья был крайне сомнительный, но перебирать не приходилось — мне нужно было набраться сил. Я опасливо положил шарик в рот, раскусил пополам, одну половину проглотил, другую зажал в зубах.

— Проглотил?

Я кивнул.

— Ну как? — спросила она.

— Вроде ничего.

Сухой с виду шарик легко проскочил в горло, опалив его своей сладковатой горечью.

— А-а-а! — выдохнул я.

— Тихо, парень! Не разевай рот!

Я делал рвотные движения, но шарик уже проскользнул в желудок и пек его огнем.

— Вы что, убить меня вздумали...

— Убить? Дурень, да ты сейчас враз окрепнешь...

— ... Позовите сестру...

— ... раз тебе любо тут валяться, я тебя невольт не стану...

— ... тогда дайте попить.

— Нельзя тебе пить. Потерпи чуток, тебе лучше. Ты что, не знаешь, чем горше лекарство, тем оно полезнее? А не знаешь, так пора знать...

Меня корежило, под волосами выступила горячая испарина, тело пылало, лицо Мэри, искажаясь, расплывалось в глазах. Сейчас умру, подумал я.

— Хорошее лекарство, — сказала она. — Теперь тебе полегчает. От такого лекарства и сосунок силачом станет.

А теперь давай раскинем умом — лучше всего тебе будет пожить у меня. Вот адрес, слушай и запоминай. Но перво-наперво нам надо тебя вызволить отсюда.

— А из чего оно, ваше лекарство?

— А тебе это знать ни к чему. Да ты не бойся. Мы спокон веку им пользуем. Вернее, мама моя пользуется, а допрежь того ее мама...

— А все-таки из чего оно?

— Слушай, зря ты меня пытаешь. Больше тебе ничего у меня не выпытать. Ты его так и так проглотил, а сейчас нам надо думать, как тебя вызволить отсюда.

— Верно. Я, пожалуй, могу вам помочь с крышкой.

— Вот и славно, всего тяжелее будет вызволить тебя из больницы — тут я пособить не могу. Тут тебе самому надо расстараться. А может, нам и вовсе лучше подождать до следующей недели...

— Ни за что. Я сегодня же уйду!

— А ну как тебя поймают?

— Все равно я готов рискнуть.

— Смотри-ка, лекарство-то себя оказывает. А ты и вправду решился? Ладно, раз решился, я тебе пособлю с крышкой, а там уж давай старайся сам. Глядишь, и справишься, да только сомнительно мне что-то. Счастье твое, что мы на четвертом этаже... — Не закончив фразы, она обернулась. — Вот напасть, по мою душу пришли...

— Мэри, крышку! — крикнул я ей вслед, когда она двинулась к двери.

— Я враз обернусь, — уже взявшись за ручку, прошипела она.

— Хоть свет-то выключите.

Она подошла к двери, я увидел, как ее рука дернулась к стене, и комната погрузилась во мрак.

— Мэри! — Но дверь хлопнула, заглушив мой голос. Она ушла, и тут я почувствовал, как колотится мое сердце.

Действовать придется не мешкая и в одиночку. Я приник головой к щели, прислушался. Ни звука. Мои глаза упира-

лись в крошечную, лишенную очертаний тьму. Я вдыхал беспросветную, пропахшую эфиром тьму, а про себя последними словами честил голос, отозвавший старуху Мэри. Теперь мне предстоит действовать самому. В одиночку выбираться наружу. Но до этого необходимо вылезти из ящика. Я дал себе передышку и тем временем обшарил ящик изнутри.

Под спеленавшей меня простыней я нащупал электроды: один был прикреплен к пупку, другой — к позвоночнику. Я потянул за первый, услышал, как зловеще щелкнул мотор в недрах ящика, тут же отдернул руку — и мотор заглох. Займусь им попозже, решил я. От ремней на бедрах — полосок тонкой кожи, застегнутых на металлические пряжки,— освободиться не составляло особого труда. Но до ремней вокруг лодыжек я мог дотянуться, только если б мне удалось открыть крышку пошире. Я решил дать себе передышку и пока обдумать дальнейший план действий. Убегать надо не мешкая, а то, не дай бог, Мэри передумает или еще, чего доброго, перепугается и выдаст меня. Действовать надо не мешкая. Дверь выходила в коридор, первым делом надо добратся до него. Дальше я решил не загадывать. Упершись спиной в дно ящика, я прижал ладони к стеклу крышки и толкнул. Правее гладкая поверхность крышки уходила вниз. Я толкал крышку, дряблые мускулы мои, казалось, окрепли, их будто жгло изнутри, а руки мои, распрямляясь, сами собой соскользнули к краю крышки. Крышка чуть поддалась. Не мешкая, без проволочек! С новым приливом сил я напряжился и приподнял крышку. Ладони мои саднило, так сильно я давил на стекло. Но крышку словно заело. Руки у меня ныли. В ушах стоял звон. Тошнота волной подкатила к горлу, принеся с собой сладковатую горечь — остатки старухино зелья растворились у меня под языком. Я сглотнул слюну, она опалила мне горло. Действие лекарства не заставило себя ждать — ко мне вернулись силы. Я раскачал крышку, словно камень, тяжелая крышка раскачивалась в спасительной тьме — без шороха, без звука. Ни на минуту не переставая вслушивать-

ся, я возносил небесам нелепую молитву: «Господи, даруй мне силу Братца Медведя», кричал и снова толкал крышку.

*Поднатужьтесь, поднапружьтесь,
Братцы Кролик и Медведь,
Потому что очень нужно
Чертов ящик отпереть!*

Зарифмовать молитву, пропеть ее — нет, нет, меня могут слышать! Пропеть песню в молчании. Пропеть песню молчания в чужом краю. Поднатужиться, поднапружаться! А крышка тяжелая, тяжелая, как земной шар! И вот наконец-то я выпрямил руки, уперся онемевшими пальцами в стекло и железо, неразличимые, слившиеся с тьмой железом и стекло, и все время прислушиваясь к шагам за дверью, боязливо ожидал — не зажжется ли ненавистный свет, не зашуршит ли крахмальный халат, а потом снова толкнул крышку. Неожиданно раздался щелчок. Скошенная плоскость пошла вверх, и моим рукам сразу стало легко. Крышка с лязгом откинулась на петлях. Я собрался с духом, сел и почувствовал, как простыня, скользя по спине, упала. Я был мокрый, хоть выжимай. Звон в ушах сначала усилился, потом смолк. Наступившую тишину нарушало лишь мое прерывистое дыхание. На какой-то миг мне показалось, будто я вижу страшный сон. Но как же я буду действовать вслепую: вот если б здесь был хотя бы слабый свет... Меня забила дрожь, потом скрутил острый спазм. Я встал на колени, прислонился к стенке ящика, потянув за собой датчики, и тут до меня дошло: меня же может убить током. Я слышал, как брызги глухо стучаются о пол, видел, как они, описывая дугу, тусклыми блестками летят вниз. Крепился. И в конце концов меня отпустило. Мне было и смешно и гадко: никуда не денешься, когда я вылезу, мне не миновать этой лужи. Вот твой Иордан — и тебе придется в него войти, мелькнула мысль. Так и не встав с колен, я нашарил датчик и тут услышал, как залязгал, загудел аппарат. Надо поторапливаться, пока они не заметили отклонения*

* Река, в которой, по преданию, крестился Христос.

показаний и не пришли полюбопытствовать, в чем дело. Выпустив из руки датчик, я пошарил вокруг. Остальной шнур был аккуратно свернут под простыней. Я что было силы рванул его, и аппарат взревел. Я разъярился, с бранью отшвырнул провод, но тут же прикусил язык и остолбенел — за дверью послышался шум. Так и не выпуская из руки шнура, я, казалось, ждал чуть не век. Брякнула дверная ручка, и опять — ни звука. Вошли они или не вошли? Они никак не могли войти — иначе бы из коридора пробился свет. А что, если свет в коридоре отключили? Я привалился к ящику, вслушался — от напряжения нервы у меня совсем расходились. Тут в коридоре снова что-то грохнуло.

— Ваша взяла! — злобно прошипел я.— Только тянуть-то зачем? Подходите, наваливайтесь! Что вы молчите?

Ни звука.

— Кончайте эти игры! Подходите, наваливайтесь! Мне осточертело гнить среди этого железного хлама. Я вылезаю!..

Я прислушался — казалось, мой голос эхом отдается от стен.

— И учтите, я освоил ваш аппарат. Слышите, как он гудит? Стоило мне до него дотронуться, и он заработал. А теперь отойдите-ка от двери, я выйти хочу...

Ни звука.

— А ну отойдите от двери,— сказал я, давая волю давно рвавшимся наружу чувствам.— Мне что, речь, что ли, перед вами произнести? Ну, будь по-вашему! Линкольн отпустил рабов на волю, а я ухожу отсюда! Вам меня не удержать! Вылечить вы меня не вылечили, только высосали все силы. Вот почему у вас больница полным полно такими, как я; ведь если бы ваши идиотские приборы не сосали из нас силы, они бы давно остановились! Для чего вам понадобилось знать мое имя? И как вы ухитрились нас сюда затащить? Заманили свиной отбивной и куском хлеба? Или застращали плеткой-семихвосткой, наручниками и колодой? Смотрите, я ухожу, ко мне возвращается память. Я помню — Линкольн освободил рабов. Он освободил и полевых рабов, и домашнюю челядь, и конюхов, и коричневых негров, и

белых негров, и светлых негров, и негров цвета воронова крыла, а я освобождаю себя сам... Вот я вылезая...

Я рухнул будто в пропасть, но тут же грянулся о сырой пол, а мысленно все летел и летел во тьме, куда непрогляднее той, где я сейчас барахтался, наугад размахивал кулаками и умирал от страха, что вот-вот они настигнут, схватят меня. Но никто меня не трогал. Я затих. Издеваются они, что ли, надо мной? Я описал рукой круг — ни души. Прополз шажок. И тут ни души. Хлестнул провисшим шнуром — он сухо прошуршал по полу. А что, если они успели улизнуть, пока я падал? А что, если я потерял сознание? «Нет, — громко сказал я и снова прислушался, старался успокоиться. — Никого тут не было, это все тебе померещилось». И слава богу, а то я держал такую речь, впору полоумному, хотя, конечно, душу облегчил — ничего не скажешь. Я снова пополз вперед, но тут почувствовал — что-то не пускает меня. Я обернулся, зацепил рукой за шнур, и он загудел, как контрабас. Я дернул резче, раз-другой, и на этот раз заскрежетали, завертели колеса — заработал аппарат! Нет, так дело не пойдет.

Я попытался встать и почувствовал, как у меня закружилась голова. Чем это, интересно, она меня напичкала? Я стоял — давно забытое ощущение; тьма колыхалась вокруг, будто в чернильнице взбалтывали чернила. Нашупал пояс, прикрепляющий датчики. Казалось, ему нет конца, он словно прирос ко мне. Я тянул за передний шнур, пока у меня не заболела рука. Знать бы, где он соединяется с аппаратом, думал я, пока шел назад. Просунув пальцы под пояс, резиновой паутиной опутавший бедра, я попытался стащить его — ощущение было такое, будто сдираю кожу. И вдруг по странной причуде памяти мне вспомнилось, как я стою перед дверью, примотав зуб к дверной ручке суровой ниткой. Я направился назад к двери, аппарат тащился за мной; продвигался я так медленно, будто плыл против течения. И вдруг из глаз моих посыпались искры, я вытянул руку — ее обожгло болью. Передо мной была стена. Придвинувшись к ней вплотную, я переступал шажок

за шажком, но тут моя рука нашарила выступ в стене, потом скользнула по холодной филенке — гладкая, как яйцо, ручка, стоило мне дотронуться до нее, беззвучно повернулась. Я прильнул ухом к двери: казалось, ее сотрясает грохот незримых приливов — это доносился приглушенный, размеренный гул далекой аппаратуры. Голоса, другие шумы плескались где-то подо мной, сливаясь в почти не доступную слуху гармонию. Но шагов не было слышно. Я быстро обмотал волочащийся сзади шнур вокруг ручки, завязал его потуже, повернулся, рухнул лицом вниз и почувствовал, как тьма смыкается надо мной, будто я лечу с большой высоты. Шнур натянулся, я резко дернулся, раздался громкий треск, я шмякнулся на испещренный затейливыми узорами пол и не сразу набрался мужества пощупать датчик. Датчика как не бывало! Пояс лопнул! Я освободился от обоих разом. Только мой палец щекотно мазнули проволочные усики. Вне себя от радости, я подполз к двери, встал, прислушался. Из недр больницы доносился бесноватый рев — нечто подобное мне довелось как-то слышать, когда деревенский хор исполнял генделевского «Мессию».

Аллилуйя-бум! Аллилуйя-бам!

Аллилуйя-бух! Аллилуйя-бах!

Но тут послышались шаги — и на этот раз я не ошибся! Значит, надо стать за дверью, потом незаметно выскользнуть. Если они войдут, я свободен, думал я, пусть только откроют дверь... За дверью раздался шорох, он приближался. Сердце мое бешено колотилось. Я исходил ненавистью к людям, которые заманили меня в этот ящик. Ждал. Шорох стих! Я осторожно повернул ручку. Яркий свет ударил по глазам, я стоял на виду, сам при этом ничего не видя, и чувствовал, как мое тело обдувают сквозняки. Чуть погодя я разглядел убегающий вдаль белый, стерильно чистый коридор — ярко освещенный и пустой. Вдали виднелся поворот. За спиной у меня тоже зияла пустота. Я шагнул вперед и вырубился. Опомился я, когда уже полз по коридору, поднимался, спотыкался и снова полз; лишь миновав несколько дверей,

я взял себя в руки и попытался подняться. Прижавшись спиной к стене, я встал на ноги и, пошатываясь, опасно двинулся к маячившему впереди повороту, не отнимая рук от стены.

Добравшись до поворота, я обернулся. Шнур раздавленной змеей извивался по затейливым узорам пола. Но я уже твердил про себя адрес Мэри; ноги еще плохо меня слушались, и я опустился на колени. Одолев поворот, я наткнулся на операционный стол — одетые в резину колеса упирались в стену. В коридоре было пусто, тихо. Ухватившись за ножку стола, я приподнялся и увидел под белой простыней очертания тела. Кто это, интересно, спит, накрывши голову простыней? Мои руки помимо воли выбросились вперед, вцепились в одну белую эмалированную ножку, потом в другую, словно припоминали, как в детстве управлялись с педальным автомобилем или ходунком. Я попытался встать и почувствовал, что стол двинулся — двинулся по кругу! Но я не сдавался и упрямо старался увести стол подальше от стены; снова пытался подняться и снова падал на колени, старался увести стол подальше, но он описывал круги — его неодолимо влекло в мою бывшую палату. Всякий раз стоило мне приподняться, как стол, резко вихляя, несся по коридору вспять. Стой, чтоб тебе!.. Но почему... почему он молчит? Меня пронзило ужасом... Стой! Стой! — прошипел я, и, словно услышав меня, стол остановился. Я встал, стянув при этом со стола простыню, и мне открылось лицо — лицо молодого парня. Запавшие щеки, закрытые глаза — спит он, что ли? Я хотел убежать, но лицо не отпускало меня, будто глаза под набрякшими веками таили в себе гипнотическую силу. Я не мог сдвинуться с места. Мои глаза были словно прикованы к нему. Я не мог повернуть головы, пока не услышал, как далеко впереди раздвинулись железные двери: пришел лифт! Не отпуская стола, я открыл дверь в мою бывшую палату и, спотыкаясь, завел стол в комнату. Наступил на отброшенный шнур, он потянулся за мной, но тут же отцепился. Стол поехал вперед и остановился. Я тянул его изо всех сил, и он

вдруг подался назад и отшвырнул меня. В спину врезалась острая железка — не иначе как аппарат! У меня было полное ощущение кошмара. Так и не отпустив стола, я двинулся к двери, меня разбирал смех — начиналась легкая истерика, впрочем, она прекратилась, стоило мне нашарить дверную ручку; теперь я затаил дыхание: ожидал ли, что услышу, как он дышит за моей спиной, надеялся ли на чудо — не берусь определить. Но позади меня не ждало ничего, кроме тишины, ужаса, пустоты, тьмы. «Зачем ты дал убить себя?» — в помрачении шептал я. А вдруг его, как и меня, тоже заключили в ящик? Вот ужас-то, надо поскорее выбираться отсюда, пока они не засунули меня обратно под крышку. Нетвердыми ногами я шагнул к двери и тут вспомнил про стол. Он еще сослужит мне службу. Я развернул стол, подкатил его к ящику, железо лязгнуло о железо. Но ящик слишком высокий — значит, ничего другого мне не остается. Тошнота подкатила к горлу, едва я прикоснулся к холодному телу. Я чуть не ушел, но потом одной рукой нащупал его шею, другую подсунул ему под поясницу, подтолкнул — и он легко, будто перышко, перекатился к ящику. Если б тут было хотя бы посветлее. Я толкнул еще раз. Что-то глухо плюхнулось на дно ящика, я поднатужился и перевалил тело через борт. «Полезай в ящик, чтоб тебе пусто было, — с удивившей меня самой злобой прошипел я. — Надо б тебя еще крышкой прихлопнуть!» До чего бы облегчилась моя жизнь, будь он одет. Тогда б я натянул его костюм и прямым движением двинул на улицу. Я толкнул стол к двери, но он не стронулся с места. Я пошарил в темноте. Это он зацепился ногой за простыню. Я отцепил его ногу и выкатил стол в коридор. Притворяя за собой дверь, я оглянулся — нога болталась, будто сломанная, в падающем из коридора снопе света.

В коридоре было пусто, тихо. Куда все подевались? И кто он такой? И неужели здесь за каждой дверью стоят такие же аппараты? С каждым шагом силы в ногах прибавлялось. Я миновал то место, где стол стоял раньше, — теперь я вел его так уверенно, что ни разу не натолкнулся

на стену. Глазами я рыскал по потолку, по закрытым дверям. А что, если в них проделаны потайные глазки и через них за мной следят? Ставят надо мной опыты, словно я крыса, которую запустили в лабиринт? Ну и пусть их! Я им докажу, что и крысе ума не занимать стать. Но почему мне никто не попадается навстречу? За поворотом коридор убегал вдаль, по нему волной катился невнятный гул. Я подбавил скорости, теперь я чуть ли не бежал. Мне слышались голоса из моего прошлого, но чьи они, я забыл, они предупреждали меня об опасности. Во мне с новой силой вспыхнула подозрительность. От гнева у меня перехватило горло, спина, низ живота тошно заныли. Впереди показалась шахта лифта — я остановился. Чем она станет для меня — выходом, западней? Раздумывать было некогда. Послышался натужный стон — это поднимался лифт. В растерянности я обернулся. Но где тут спрячешься? Ярко освещенные коридоры бежали в три стороны еще метров десять, потом сворачивали — да меня наверняка засекут прежде, чем я добегу до любого поворота. Позади тянулась стена с оконцем под самым потолком. Тут шахта осветилась и лифт остановился. Когда дверцы раскрылись, я прижался к столу вплотную, бросил его к лифту и чуть не опрокинул миниатюрную блондиночку в белоснежном халате с подносом, в испуге она только ахнула: «Господи ты боже мой!»

— Между нами говоря — там адское пекло,— сказал я, мельком отметив сверкающую булавку на ее груди и матовое сияние перламутровых зубок.

— А... А... Ну да... Ну да...— сказала она.

— А в самом низу печет еще сильнее,— сказал я, заводя стол в лифт.

Она остолбенела, а я мягко отстранил ее и закрыл двери.

— Смотрите не уроните поднос,— сказал я.

Лифт пошел вниз, а вслед за ним летел ее пронзительный визг — он резал мой слух. Мимо проносились освещенные этажи, стеклянные двери, мелькали фигуры мужчин и женщин в белых халатах, они жестикулировали, их оборванные

на середине жесты казались карикатурно резкими, как фигуры современного балета. На всех этажах сновали люди. Мне оставалось одно: спуститься в подвал — дальше лифт не шел. Я довел ручку до упора, до самой буквы «П». Лифт понесся вниз, за ним легкий, словно перышко, летел сестричкин крик, и тут я почувствовал, что ноги у меня сводит судорога. Кабина с глухим стуком приземлилась, и я упал на колени, а лифт подскочил — казалось, он вот-вот пойдет вверх. Я чуть подождал, чтобы убедиться, что он остановился, и выбежал из кабины.

К лифту выходили два мрачных коридора; я с минуту поколебался, потом кинулся в левый — тот, что потемнее, и меня сразу обволокло запах лекарств, машин, еды; я видел, что коридор сужается, но понимал, что отступать некуда. И тут, чуть не сразу, с разбегу налетел на тележку. Ударился о ее жаркий железный бок и так сильно тряханул ее, что она выбросила облачко пара, за клочковатыми струями которого я с трудом разглядел стоящего позади нее человека.

— Эй, друг,— сказал он.— Да ты никак спешишь?

Тут пар немного рассеялся, и из коридорной мути выступил его белый костюм.

— Я тебя не заметил,— сказал я.

— А все потому, что спешишь. Бегай не бегай, все равно богатым не бывать.

— Богатым? — сказал я облаку пара, а сам тем временем всесторонне, но без особого интереса обдумал его вопрос: — Богатым, здесь?

— Ага. А ну посторонись, браток, дай проехать... Я, бывает, думаю, этот подвал только в страшном сне может присниться. В банке с пауками и то вольготней. Слышь, а как по-твоему, деньги у тебя скоро заведутся?

— Не похоже на то...

— Это ты брось, друг, такое наперед знать нельзя,— сказал он и тронул тележку.— Может, тебе хороший сон приснится — будто ты разбогател...

— Хороший сон, говоришь? Мне одни кошмары снятся,— громко, зло выкрикнул я в его могучую спину — скло-

нившись над ручками тележки, он катил ее прочь.— Одни кошмары,— выкрикнул я еще громче.

— Да брось ты.— Он со смехом обернулся ко мне.— Постарайся хорошенько, и тебе приснится такой кошмар, лучше не надо — к примеру, что ты банк грабишь...

Я смотрел ему вслед, он все смеялся. Что, если он поднимет тревогу? Я попятился назад, но уже через несколько шагов повернул и припустился бежать. А вдогонку мне неся его смех. Где-то справа послышались голоса, впереди показался свет — тусклая лампочка осветила дверь с надписью «Машинное отделение». Я рванул к ней, в голове крутилось: «Там наверняка горит свет, есть люди. Прежде всего надо вырубить свет — вся твоя надежда на темноту».

Дверь открылась легко. Яркий свет, духота, вибрация накрыли меня с головой, как волна. Я стоял на пороге огромной комнаты. Зубы у меня клацали; справа, склонив голову над столом, сидел здоровенный детина и читал; меня он не заметил. Боязнь совершить промах сковала меня, я весь подобрался, глаза мои скользнули мимо трех аппаратов к дальней стене — около нее ничего не стояло, только в дальнем углу ее была пробита дверка,— отметили ряд паровых котлов за спиной детины — все высматривая, где может быть распределительный щит,— а тем временем в голове у меня крутилось: «Щит здесь, больше ему быть негде», но тут детина поднял глаза от книги, я гаркнул: «Где щит?» — и он оцепенел, сразу потерял всю свою невозмутимость. Губы у него беззвучно задвигались, глаза выкатились...

— Где щит? Живо! — прикрикнул я.

— Щит? — прорвался его голос сквозь рев машин.

Он поднял руку, вытянул, показал, я проследил за его рукой. Щит был прикреплен к трубам, проложенным у самого пола,— там, куда он и указал. Я метнулся к щиту, а краем глаза отмечал: вот он ошарашенно мотнул головой, вот привстал со стула,— а сам добежал до бакелитовой панели, рванул самую большую рукоятку, и тут в его глазах забрезжило подозрение, и я услышал его резкий, невнятный,

как в кошмаре, крик: «Эй!», но в комнате, хоть я и повернул рукоятку, было по-прежнему светло. Я увидел, как удивление на его лице сменилось бешенством, вырубил одну, другую рукоятку — во все стороны брызнули голубые искры, а свет все не гас и не гас, — дотянулся до рубильника поменьше, вот тут он оторвал зад от стула, и — наконец-то — сначала один угол комнаты, потом другой погрузился во тьму. Я не сразу бросился бежать. Голос его теперь, когда шум в комнате быстро спадал, звучал все более отчетливо, придвигался все ближе и ближе — казалось, его издает динамо-машина, чье гудение постепенно замирало. Определяя направление по тому, с какой силой обдавали меня жаром котлы, я побежал вправо, постоянно напоминая себе, где дверка в стене напротив, пробежал мимо котлов, подаваясь в сторону, когда их жар становился совсем уж нестерпимым, но тут он наскочил на меня, и я едва устоял на ногах. Я опустился на пол, он истошно завопил, я чуть отполз, потом поднялся, попятился, а он все еще барахтался на полу. Я в нерешительности потоптался, покрутился туда-сюда, прежде чем сообразил, где дверь, и рванул к ней. Он орал: «Эй! Эй!», мне казалось, что я бегу по кругу, но тут огненно-красный луч проткнул мне голову. Я врезался в стену, схватил руками голову, покатился, ударился плечом о холодное железо, в бешенстве замолотил по нему кулаками. Да это же дверь! Я пхнул ее, нащупал ручку, дернул, услышал треск. И тут он снова заорал. Раздался грохот. Я оглянулся: комната выступила из темноты — это распахнулась дверь напротив. В ярком проеме двери возникли несколько мужчин в позе танцоров, замерших в мощном прыжке. «Вот он где», — крикнул один из них, и они ринулись в темноту. Я налег плечом на дверь. Шершавое железо ободрало мне кожу, а тем временем, приглушенный криком, топотом бегущих ног, шумно, прерывисто пыхтя, заработал аппарат. Я снова налег на дверь, на этот раз она туго, неподатливо приотворилась — видно, ею редко пользовались. Протиснулся сквозь щель, вывалился из одной темноты в другую. Промозглая сырость охватила меня. Пол ходил

ходуном под ногами, ощущение было такое, будто я проваливаюсь и все никак не провалюсь в черную шахту, из которой тянет сыростью. Но в мутном, неведь откуда просачивающемся свете глазам моим открылась не шахта, а погреб, размеров которого я не мог определить. А тем временем позади уже отыскивали дверь.

— Сюда! — раздался крик, и в бурлящем световом водовороте я разглядел вьющийся между беспорядочно расставленными ящиками узкий коридор. Я видел, как позади обшаривали пол, метались лучи фонариков, видел лица мужчин над ними — затененные снизу, они походили на черепа. Я отступил на шаг, споткнулся и услышал оглушительный грохот. Впереди из темноты выступил какой-то неясный предмет. Лучи света заметались вокруг меня, но тут я оступился, упал на колени, в голове крутилось: «Схватят, сейчас схватят». Но я все равно полз, пробирался между ящиками, обдирал бока об их неоструганные доски, потом остановился, прислушался и понял — они совсем близко. Они тяжело пыхтели, перешептывались, старались ступать как можно тише. Но и с фонарями они двигались медленнее меня. Не успели они пройти мимо, как тут же вернулись обратно. Теперь они были внимательнее, лучи фонарей ощупывали ящик за ящиком... Я следил за их ногами в белых брючинах, а в голове крутилось: «Хватит с тебя, пора бы и проснуться...»

— Говорил я тебе, он ушел дальше... — сказал один голос.

— И куда же, интересно, он пошел?

— Почему я знаю? Но проскочить мимо нас в машинное отделение он никак не мог...

— Давай посмотрим, куда это ведет...

Их шаги удалились.

«Шшш — прислушайтесь!» — услышал я вдруг, и сердце у меня ушло в пятки: где-то поблизости завязалась яростная борьба. Она шла по кругу, кто-то карабкался, метался, тыкался туда-сюда, обо что-то стучался, потом с сухим шорохом уползал, и моему воображению рисовалась

череда острых звуков, царапающихся о стену темноты.

— Вот он, вот он!

— Смотрите, чтоб на этот раз его не упустить! Его никак нельзя упустить!

Я слышал, как удаляются их шаги. «Это крыса,— подумал я,— они гоняются за крысой. Если не за мышью!» А вдруг крыса и в самом деле на правильном пути?.. Я поднялся. Но мне придется отыскивать свой путь, мы с крысой обречены блуждать каждый в своем лабиринте. Мне придется найти выход самому. Их шаги все удалялись. Хоть бы только крыса бежала вперед, не возвращалась сюда!

— Он вон там! Я слышал! — раздался голос, и тут я шагнул в проход, в голове у меня крутилось: «Как бы не так, не там, а за три километра от вас! Догоняйте, не догоните...»

Я различил запах эфира, примешанный к тяжелому подвальному воздуху, только когда луч света, ударив в глаза, ослепил меня.

— Наша взяла, парень, теперь тебе не уйти! Стой, не шевелись!

Я присел, сжался так, что все тело заныло, и зашептал: «Нет, нет...»

— И не нет, а да,— послышался тот же голос, шаг, еще шаг, луч фонарика закачался у меня перед глазами, и он пошел на меня.— Еще как да!

Я увидел, что он несет на вытянутых руках какую-то белую хламиду, и опустил голову, а в голове мелькнуло: «Это... да это же смирительная рубашка...»

— И не рыпайся, парень,— его неуверенный смешок гулко отдался под низким потолком погреба.— Надень-ка поскорее на себя вот это. Ты же болен! В этой мокрети недолго и воспаление легких подхватить!

— Нет, нет,— повторял я, отмечая в уме все оттенки его интонации, будто слушал патефон, у которого кончается завод, и чувствовал, что больше не боюсь, а только презираю его. «А ведь он робеет!» — подумал я.

— Мы для твоей же пользы стараемся, станет тебе по-

лучше, и мы тебя отпустим... Ты пойми, ты же болен, серьезно болен...

Я видел, как он, медленно переставляя ноги, надвигается на меня.

— Ты же болен,— повторил он.

— Сам ты болен,— прошипел я в надежде выиграть время.

Он остановился.

— Ха-ха, смотри-ка, а ты, оказывается, шутник. Раз начал шутить, значит, пошел на поправку. Неделька, другая... и мы... тебя... отпустим... домой.

Когда его белые пуговицы заблестели совсем близко, я сделал вид, будто хочу юркнуть мимо него, но тут луч фонаря, ударив в потолок, осветил его — весь в белом, он сидел передо мной на корточках, зрачки у него были расширены, как у кошки.

— Ты эти штучки брось! Я ведь и по-плохому могу, если не хочешь по-хорошему. Выздоровеешь, и мы тебя отпустим на все четыре стороны...

— Ты меня сначала поймай,— прошипел я.— Я сам себя отпустил, обошелся без вас...

— И поймаю, не сомневайся,— сказал он, голос его снова зазвучал спокойно, вкрадчиво.— Но почему бы нам не поладить? Ты же не хочешь себе вредить?

— Правда твоя,— прошипел я.— Только чего ж ты не подходишь...

— Ну-ка дай я на тебя надену...

— Наденешь что?

— Халат. А то ведь так и простудиться недолго.

— А хорошо ли он на мне будет сидеть? Я ведь насчет одежды очень переборчив.

— Сидеть будет лучше не надо... А ты тот еще типец, ха-ха!.. Сидеть будет как влитой, у него такой фасон — всем по мерке. Дай я тебе покажу,— и он сделал еще полшажка ко мне.

— Кидай! — сказал я.

— Кину, сейчас кину,— отозвался он.

Он нагнул голову, луч фонаря пошел вниз, глаза его, когда он метнулся ко мне, сверкнули из темноты — и мы столкнулись. Я вцепился в него, грубый холст проехался по моей руке, он обхватил меня крепко, как железными клещами. Но я выскользнул, двинул его и почувствовал, как мой кулак вошел ему в бок. Он хрюкнул, я колошматил-колошматил его, он с хрюканьем вырывался, потом уронил голову, а я уже бежал, бежал что было мочи. Но бежал не сходя с места и, высоко задирая коленки, пинал его — звук был такой, будто колотят палкой по изгороди. Он упал, фонарь, вихляя, покатился по полу, заливая стену ярким светом, а я выскочил из угла и был таков, и тут он поднял крик.

Путь мой был извилист. Напал я на него почти сразу. Наткнулся на перевернутый ящик и пошел туда, откуда вернулись мои преследователи. А он кричал-кричал, и крик его становился все более внятным. Я шел вперед, бежать я боялся: в темноте не разглядишь, что тут понаставлено, но идти старался как можно быстрее. Сзади, справа от меня, шла погоня за крысой. «Так держать, ребята,— думал я,— ей от вас не уйти!» Обогнул какую-то холодную и, несмотря на покрывавшую ее густой слой пыли, гладкую громадину и следовал за ее длинными плавными очертаниями до тех пор, пока они, закруглившись, не сошли на нет, а потом двинулся вдоль стены, чтобы не отклониться, время от времени касаясь рукой ее шершавой поверхности. «Сюда, сюда!» — слышал я его крик за моей спиной. Вспомнил почему-то, как врезал ему, и сразу повеселел. И тут осознал, что во мне произошла какая-то перемена. И причина крылась не в том, что я забыл, как меня зовут, и не в том, что меня пропустили через аппарат, и даже не в том, что я проглотил старухино зелье, а во мне самом. Я думал как другой человек. Впечатления, сменяющие друг друга, слишком мимолетные и полные непонятого мне смысла, не могли быть моими, кем бы я ни был. И все-таки они почему-то были моими. Мне словно даровали власть проникать в суть вещей. А что, если я сошел

с ума? Но нет, все было гораздо сложнее...

Голос его окреп. Позади хлопнула дверь, и я снова припустил. Впереди тьма рассеивалась. Слева тоже показался свет — я остановился на пороге комнаты побольше, видно, какого-то склада: всюду громоздились старые аптечки, табуретки, ванны, крапчатые от пятен света, просачивающегося сквозь потолок, по которому тянулось нечто вроде тротуара, выложенного толстенными стеклянными пластинами. Оттуда несло сыростью. На мое лицо налипла паутина. Я смахнул ее, двинулся дальше, настороженно прислушиваясь. Звук зародился далеко впереди — оглушительные раскаты, такие, будто кто-то выбил дробь на ненастроенных литаврах, — докатился до меня, сквозь него я различил шорох шагов и в ужасе метнулся влево. Пролетел, упал, подо мной заскрипело, загудело, нос и рот мне забило пылью. Приник, удержался, не переставая вслушиваться, обнаружил, что стою на карачках на продавленной кожаной кушетке. Вцепился покрепче, сдавленно чихнул и услышал, как мой чих отдался, унесся наверх, пророкотав подобно грому в поднебесье.

— Опять мы его потеряли, — сказал один. — Тут уйма таких закоулков, о которых мы ничего не знаем...

Они были совсем рядом, но я их не видел. Я прижался к ветхой коже, ощущение беспомощности, безвыходности переполнило меня.

— Говорю вам, он где-то здесь. Я загнал его в угол, около вас он не проходил, значит, больше ему быть негде...

— Этим должна заняться полиция, — сказал другой.

— Зря вы, доктор...

— С какой стати ему сюда забираться?

— Не исключено, что его привело сюда какое-то забытое воспоминание. Возможно, склад напоминает своим строением его мозг...

— Он здесь, это факт, и нечего сваливать свою работу на полицию...

— У него не все дома, — кипятился третий. — Ввалился в чем мать родила и ну свет вырубать!

— Давайте поищем его здесь сами, а не найдем, тогда вызовем полицию — у них и слезоточивый газ есть, и прожектора... А еще говорят, что трудно найти иголку в стоге сена,— попробовали бы они найти негра в такой темнотище...

— Газ его выкурит... Слушайте...

— Что еще?

— Видите ту дверь?

Башмаки зашаркали по бетонному полу, повернули:

— Где?

— Да вон там. Может, он через нее улизнул.

— Да будет вам! Вы что, не видите, что ли,— она просто прислонена к стене.

— А и верно.

— Теперь видите?

— Вижу. Пошли.

Они удалились, голоса их звучали все глуше — казалось, они бегут перед ними вместе с лучами их фонарей.

Что мне делать? Вот-вот они вернутся и приведут полицию со слезоточивым газом. Я видел, что пятна света крапят подвал еще метров на шесть вправо от меня, потом тускнеют. Я оказался зажатым между кушеткой и еще какой-то рухлядью; попытался повернуться — и оступился. Не устоял на ногах, повалился на дверь, она качнулась, отшвырнула меня назад. Она вовсе не была снята с петель — это только так казалось. Не веря своему счастью, я легонько толкнул ее, и тут до меня донеслись их голоса, только на этот раз они доносились из-за какой-то перегородки. За ней была крошечная тьма. Черный прямоугольник, вправленный в тусклую подвальную мглу. Что он мне сулит? Свободу, новые опасности, анатомичку, безумие или смерть? Это не настоящий коридор, определил я на ощупь, а неумело сделанный проход наподобие тоннеля в шахте — его прорубили в спешке, использовали тайком и забросили внезапно...

Я еще не видел, как косою луч ударил в потолок, а уже почувствовал его, и меня потянуло поднять руки и войти в

круг света. Но передо мной замаячил аппарат, и я сделал шаг в темноту, потянул дверь, она бесшумно затворилась. Ни звука. Коридор сначала бежал по прямой, потом резко поднялся вверх. Я шел, простирая руки вперед, пальцы мои время от времени пробегали по бокам узкого прохода, по неровным земляным стенам, натывались то на один, то на другой деревянный столб. Вдруг из-под ноги что-то выкатилось — меня кинуло вперед, раздался звон стекла. Я пошарил вокруг — всюду валялись бутылки, кипы бумаг. Прислушался — не раздадутся ли шаги за моей спиной, потом встал с колен и похромал дальше, стараясь ступать как можно осторожней. С каждым шагом становилось все теплее. Мне почему-то представились три огромных печи. Когда-то, в незапамятные времена, я был в пекарне, видел, как пышущие жаром хлеба стоят впритык на горячих противнях, как остывают ровные ряды золотистых коврижек на хорошо отскребенных досках... Неужели я так с тех самых пор и бегу?

Поначалу мне показалось, будто пытит паровоз, потом прорезалось хриплое придыхание труб и саксофонов, и я понял, что это играет музыка. Я постоял, вдыхая застывший алкогольный дух. Откуда доносится музыка — сверху или спереди, из коридора? Пошел дальше и скоро уперся носками в стену — стена, казалось, отодвинулась от меня. Я попятился. Воздух здесь был совсем другой, а музыка гремела вовсю. Я занес ногу — она нависла над пустотой. Еще один подвал! Только этого не хватало! Музыка явно слышалась сверху. Пивной запах стал сильнее. Я снова двинулся вперед, стараясь ступать как можно осторожнее. Что ждало меня позади — лишь слезоточивый газ, а впереди хотя бы играла музыка! Куда меня занесло? И зачем здесь ход в больницу? И что это такое — пивная, ресторан или какой-то клуб, расположенный в другом крыле здания? Я переминался с ноги на ногу — как мне казалось, довольно долго: мне хотелось, чтобы они настигли меня, и тогда все решилось бы само собой. Музыка было стихла, потом грянула вновь. Я продвигал-

ся вперед, держась за стены. Пивной дух стал забористее — начались пивные бочки. Ощупью отыскивая дорогу, я трогал одну присадистую бочку за другой. Я в подвале пивной, думал я. А это играет автомат. Если сказать, что из подвала больницы можно проникнуть в пивную, никто не поверит. От этой мысли я приободрился и решил сделать остановку — обдумать, как мне быть дальше. Если здесь пивная, значит, можно подождать до закрытия, а когда все разойдутся, подняться наверх и удрать — силы мои были на исходе. Наверно, Мэрино лекарство уже перестало действовать. Из чего, интересно, изготовлено это жуткое зелье? Надо бы переждать время, посидеть, но где там — пол был завален углем. Я сделал еще шаг, наткнулся на какое-то деревянное сооружение: судя по тому, что доски шли одна за другой, это была переборка — и остановился: еще не дай бог опрокину что-нибудь и выдам себя... Я прислонился к столбу, но ощущение, что я все еще иду, преследовало меня. Над головой снова загремел музыкальный автомат — знакомая мелодия. Блюз. Где я его слышал и что у меня с ним связано? Засурдиненный инструмент всегда напоминает глухой голос. Или это голос напоминает засурдиненную трубу? И что поет певец? Другой инструмент, урча, как медведь, подхватил рефрен. Ни дать ни взять Братец Медведь, подумал я ни с того ни с сего... Доколе тебе еще мыкаться, доколе, скажи?.. И когда, наконец, они там, наверху, закроют лавочку? А что, если они работают круглосуточно? И никогда не закрывают? Даже думать о том, сколько еще мне предстоит ждать, и то было противно. Я постарался переключиться... Подремывал...

Поначалу мне показалось, что это играет автомат. Я очнулся на полу около ларя с углем, ошалело вытаращил глаза: на самом верху лестницы стоял человек.

— Что за чертовщина! — орал он. — Эй, ты, эй, ты!

В глазах у меня прояснилось. Темнокожий толстяк с крупной лысой головой, на которой играли блики света, стоял, прижимая к белому фартуку ящик с бутылками.

Я перекатился, прополз за переборкой и нырнул в ларь, угольная крошка больно врезалась в мои голые колени. И тут за моей спиной раздался другой голос:

— Эвон он где!

— Где? Нет, ты покажи где.

— Да эвон он *где* стоит!

— Где?

— Да за заборчиком.

— Голяком?

— В чем мать родила.

— А тебе часом не зеленый черт привиделся?

— Да будет тебе, Притчетт, ты из меня дурака-то не строй. Что я видел, то видел.

— Видеть-то ты видел, только его здесь нет. Пить надо меньше.

— Что ж, по-твоему, выходит, я вру?

— Врать не врешь, а перебрать перебрал. Чтоб сюда пролезть, надо за стойкой мимо меня пройти, мыслимое ли это дело?

— Не знаю, что тебе и сказать, Притчетт, а только я правда его видел. Ей-ей! Эй, мистер! — жалобно позвал он.— Мистер, если вы здесь, уж вы, Христа ради, объявитесь, не то нам не миновать вызвать полицейских, а хозяину ни к чему, чтобы тут полиция ошивалась...

— Ладно, кончай. Работа не ждет...

— Рассудите сами, мистер, если вы не объявитесь, они меня засмеют...— сказал первый.— Будут говорить, вы мне с пьяных глаз померещились, и зажмут деньги за день...

Голос его звучал так искренно, что я опешил, у меня даже дух заняло.

Он помолчал.

— Парень, ты меня слышишь? — сказал он чуть погодя.

Меня разбирал смех.

— Поговори с ним ты, Притчетт.

— Говорят тебе, ты пьян. Пьян, как зюзя.

— Да брось ты, Притчетт, говорю тебе, он здесь.

— Опять ты за свое! Ну ладно... Слышь, ты там, если ты

там, тебе лучше выйти оттуда подобру-поздорову, не то мы подумаем, будто ты сюда забрался, чтобы у нас чего-нибудь стибрить, а тогда уж пеняй на себя...— адресовался он ко мне с такой убежденностью в голосе, словно я должен был материализоваться уже благодаря одному тому, что он ко мне обратился. И снова мне захотелось сдаться, и снова я переборол себя. Слишком далеко я ушел, чтобы сдаться теперь.

— Смотри,— услышал я.— Никого там нет.

— Я тебе точно говорю, он там. Просто он сам своей пользы не понимает. Но он у меня дождется, вот сбегая за битой и намну ему бока — работаешь тут день-деньской, а получишь по его милости шиш. Сходи за пистолетом.

Пистолетом? Продвигаясь мало-помалу, чтобы уголь не обрушился и не погреб меня под собой, я зарывался все глубже. А тем временем за моей спиной завязалась отчаянная перепалка... Протискиваясь между кучей угля — пирамидой метра в полтора высотой — и стеной, я услышал их шаги: они шли ко мне...

— Сколько раз тебе говорено, не пей на работе!

— Вот подойди поближе, тогда и говори.

И тут я увидел их: две головы, перевесившись через переборку рядом со столбом, около которого я задремал, вглядывались в угольную кучу, где я лежал ни жив ни мертв.

— И где же он? — спросил один.

— Да здесь. Где ему еще быть, раз я его видел.

— Здесь так здесь, только ты его найди. Мимо меня он не проходил, значит, если он здесь был, он никуда подеваться не мог.

Они продвигались шаг за шагом, нацеливая тусклые лучи фонариков в темные углы.

— А что как у него ружье?

— Ружье?

— Во-во. Пошли отсюда.

— Да ты что, откуда у него ружью взяться? У него руки пустые были.

- Ты-то откуда знаешь?
- Да он же голый был...
- А что как у него нож?..

Они отошли. Что, если они наткнутся на ход в больницу? Я слышал их учащенное дыхание — теперь они подбирались ко мне с другой стороны ларя. Я вжался в стену, замер, и тут раздался крик:

- Вот он!
- Где?
- Да вон там!
- Там, где ворохнулось, что ли?
- Во-во.

— Чтоб тебе! И я тоже хорош, пьяного послушал! Да это на улице кто-то по люку прошел. Еще раз напьешься на работе, выгоню взащей!

На меня с грохотом посыпался уголь.

— Эй, Роско,— закричали на лестнице.— Что у вас там?

— Ничего такого, сей минут поднимемся.

— Хорошенькое ничего, зал полон посетителей, а они тут прохлаждаются.

— Да вот крыса пробежала.

— Крыса?

— Ну да.

— А чем вам крыса мешает? Оставьте крысу в покое и живо наверх, одна нога здесь, другая там!

— Пошли, пока он не взъялся. Ну его, не за то нам деньги платят, чтобы подвал сторожить.

Я смотрел, как они торопливо заковыляли к выходу, размахивая руками; первый озадаченно мотал головой на ходу. Их тени вознеслись вверх, преломляясь, скользнули по столешнице банкетного стола и скрылись. Свет как отрезало, музыка зазвучала глуше. Что мне делать теперь? Я попытался встать, пошарил, за что бы уцепиться, наткнулся на какую-то железку. Железка была вделана в стену, я протянул руку повыше — через равные промежутки нащупал три такие же железки. Я еще не сообразил, что они ведут вверх, а уже карабкался по ним, вглядываясь в темноту.

Послышалось шарканье, негромкое позвякивание железа, в лицо, в глаза что-то брызнуло. Я пригнул голову, смекнул: «Наверху проходит тротуар», и тут — не иначе как вступила в действие цепная реакция — с лестницы, ведущей в бар, донесся собачий лай. Поверх расплывчатых очертаний угольной пирамиды я увидел группу мужчин — держа фонари в руках, они спускались по лестнице. Я решил было, что они из больницы, но тут один из них сказал:

— Ставлю двадцать против одного, что он в три секунды — по часам! — удушит любую крысу.

— Сначала пусть ее найдет!

— Выкладывай денежки!

Пес неуверенно взлаивал, рыскал там и сям, принюхивался, скулил, хрустко скреб когтями пол. Крадучись, я влез еще на одну скобу, железо холодило мое тело.

— Где я живу, крысы такие, что с ними ни одна кошка не сладит, разве что собака и то не всякая. Семь, а то и десять кило потянут — во какие!

— Ату его, Малыш! Куси его!

Пес заливался лаем. Я карабкался вверх, поминутно ожидая, что он пролезет в ларь. Держась за последнюю скобу, вытянул руку и нашарил над головой круглую, охваченную железным ободом дыру люка и над ней вздымающуюся куполом крышку — она снова осыпала меня землей.

Пес зашелся истерическим визгом.

— Крысу чует! — взревел один.

— Где она?

— Вон там, в уголь забилась.

— Не надо бы ему крысу в углу брать.

— Вон она, в ларе сидит!

— Слышь, а в углу крыса ему враз перервет горло.

Чем больше они раззадоривали пса, тем яростнее захлебывался он лаем. Я карабкался вверх, пока не уперся в железный обод — тут я вжался спиной в выемку люка,

подтянул колени к подбородку, как делал в детстве, когда катался с гор на старой шине, и повис.

— Отчего это он под люком так лаает-заливается?

— Небось там крыса.

— Посвети-ка туда!

— Что за черт! Эй, кто там есть! Дай-ка сюда свет!

Видишь теперь, что я вижу?

— Ух ты, нога!

Я услышал: «Принесите сюда еще фонарь», и сердце у меня оборвалось.

— Вот те на!

— Не иначе как нам через люк мертвяка подкинули!

Я повис, словно загнанный на верхушку дерева енот,— слушал, как они перелезают через переборку, как уголь сыплется у них из-под ног.

— Не хватает еще, чтобы здесь труп нашли, тогда уж пивную точно закروют.

— Небось это тот профсоюзник!

Ничего другого мне не оставалось — надо было пробиваться наружу, чем бы это ни грозило.

Держась за обод одной рукой, я толкнул крышку другой, и она всей своей тяжестью навалилась мне на плечи. На меня посыпалась сухая земля. «Дождя давно не было,— безразлично отметил я,— на улице сухо...» Тут мое колено поехало вниз. Наступило затишье. Но чуть не сразу его нарушил крик:

— Глянь, а он шеволится! Никакой это не мертвяк, он живехонек!

— Ничего не видать...

— Небось это кто-то задел за люк...

— Да что ты, он точно шеволится.

— А что я тебе говорил, Притчетт? Я же его как тебя видел.

— Эй, ты!

У меня устали руки. Я почувствовал, что сползаю вниз, закинул одну, потом другую ногу за обод, повис, как обезьяна на суку, и снова толкнул крышку свобод-

ной рукой. Она было подалась, потом осела. Что-то ударилось в стену прямо надо мной.

— Слазь, тебе говорят!

— Поберегись! А что как у него ружье?

На этот раз удар пришелся мне по ноге.

— А ну слазь!

Толкнул еще раз, и тут чья-то рука, обхватив мою лодыжку, потащила меня вниз. Я лягнул ногой, больно зашиб палец — рука разжалась.

— Держи его!

— Я пошел за полицией!

— Никаких полиций! Еще чего придумал! Ты что, хочешь, чтобы нас закрыли?

— А ну поберегись, я его сейчас достану, чтоб ему!..

Я опустил глаза: мужское лицо, подсвеченное снизу, упорно лезло ко мне. Экая жалость, что я без ботинок, мелькнуло в голове. Мне были видны его глаза. Я вытянул губы трубочкой, но плюнуть не смог — во рту пересохло.

— Поберегись, Толмэдж.

Я опять толкнул крышку и — грязь не грязь — уперся в нее головой.

— Не кобенься, парень,— сказал он и вцепился в мою лодыжку. Повиснув на руках, я с маху двинул его пятой раз, другой, третий, но он сжал мою ногу словно клещами. Я уцепился покрепче, примерился, как бы лягнуть его побольней, но он с криком: «Достань палку за стойкой!»: покатился вниз. И тут я уперся ногами в верхнюю скобу, поднатужился и стал мало-помалу распрямляться. От тяжести ломило голову, шею, плечи, но вот уже дохнуло свежим воздухом. Крышка закачалась у меня на голове — сквозь колеблющийся просвет заблестели уличные огни,— потом брякнулась набок. Я стряхнул ее, пулей вылетел из люка, но не устоял на ногах, споткнулся, растянулся на тротуаре, грохнулся головой о мостовую и едва не потерял сознание. Где-то в высоте грянул оглушительный раскат, вслед за ним раздался женский визг:

— Господи, спаси и помилуй, да что ж это такое?

Я перекатился на спину — прямо передо мной оказались две женщины в белых халатах.

— Полиция! Тут голый, голый мужчина...— надрывалась первая.— Полиция!

— Ой, да что вы! — взывала вторая — она в ужасе лепилась к стене.— Быть того не может, чтобы голый! Да вам, видать, помстилось, сестра Спенсер. Нехорошо будет, если мы попусту потревожим полицию. Подождите, я сейчас надену другие очки.

— Голый, в чем мать родила! Полиция! Это ж надо на улице в таком...

Я потянулся, встал на колени, перевел дух. Позади виднелась пивная, ее витрина сверкала неоновыми буквами. Из подвала мне вслед неслись потоки отборной брани. Грянул второй раскат грома, я поднялся на ноги, на меня упали первые капли дождя.

— Господи, смилуйся над нами,— взмолилась вторая, отделилась от стены и подхватила первую под руку.— Пошли, сестра Спенсер! Негоже нам смотреть на этого нечестивца.

— Зовите полицию! — крикнул я им вслед.— В подвале человека убивают!

Внизу послышалось какое-то движение. В обод люка вцепилась рука, я нагнулся, толкнул крышку на место, и грохот грома и брань разом огласили воздух. Увидев, как женщины, мелко семеня, улепетывают прочь, я рванул в другую сторону и шмыгнул в узкую улочку, застроенную старыми особняками. Полил дождь. Держась темной стороны, я все высматривал, не покажется ли где подворотня, но вспомнил, что здесь их нет. Что же это за город такой без подворотен? И что же за люди его построили? И куда же, интересно, тут заезжают мусорки? Да ведь это Гарлем, вспомнил я, мне надо найти дорогу к Мэриному дому.

Я огибал угол под крупными каплями дождя, когда передо мной выросла группка парней. Они повернулись ко мне, глаза у них чуть не повыскакивали из орбит.

— Эй, кореш, ты посмотри только на этого чувака — во дает! — крикнул один из них — остальная компания, скучившись в дверях, по очереди прикладывалась к бутылке.

Я повернулся, кинулся через дорогу, но машины, идущие одна за другой впритык, задержали меня. Пошатываясь, парни повалили за мной; поймав за руку, перехватили посреди улицы — от них так разило дешевым сладким вином, что меня чуть не вытошнило. Встали кольцом вокруг. Пьяно посмеиваясь, таращились на меня.

— Смотри-ка, чувак в натуре гуляет!

— А вдруг он впопыхах ухилил?

— Слышь, ребята, — сказал я. — Он за мной гонится. Пустите меня.

— Кто гонится, старик?

— Давай выкладывай, друг, кто это на тебя такого шороху нагнал? От чужого мужа дал деру?

— Попал в точку...

— Тем хуже для тебя, — сказал один. — Я и сам муж.

— А тебе, кореш, видать, от него уже досталось. Вон у тебя на ноге кровь. — Я опустил глаза — я и не почувствовал, что, выбираясь из люка, ободрал ногу.

— Я отбилсь, — сказал я, — но если он меня догонит, уж точно порешит.

— Так-то оно так, но если ты будешь тут нагишом разгуливать, тебя первый же полицейский за решетку упечет.

— Да пусти ты его, — еще один подошел ко мне, попытался высвободить мою руку. — Что ты к нему прицепился?

— С чего ты взял, Бриджуотер, я ж ему помочь хочу.

— Хочешь помочь, помогай, а зря не задерживай. Мне и самому случилось как-то раз из окна сигануть.

— Верно, Бриджуотер, кому не случилось? — И обратился ко мне: — Поднимись с нами наверх, друг, мы тебе какую-никакую одежду сообразим.

Я посмотрел на него, перевел взгляд на остальных — все это были парни примерно одних со мной лет, слегка под мухой; мое приключение — как оно им представлялось — настроило их на самый веселый лад.

— Идет,— сказал я и пошел вслед за ними по лестнице.

Они поднялись на три лестничных пролета, насквозь провонявших мочой и затхлой капустой. Громко перекидываясь шуточками, повели меня по коридору, такому узкому, что вдвоем там было не пройти, и подвели к двери; Бриджуотер повернул ключ, и мы протиснулись внутрь.

С потолка свисала одна-единственная тусклая лампочка. Стены комнатухи были покрашены глянцевитой краской небесно-голубого цвета. Всю обстановку составляли кровать, два мягких стула, комод и роскошная радиола.

— Садись, Тайрон,— обратился ко мне хозяин.— Похоже, тебя ноги не держат.

— Тайрон? Его вовсе не Тайрон зовут. С чего тебе вздумалось его Тайроном называть? — фыркнул один.

— Потому что он ходок, вот почему,— и, повернувшись ко мне, широко улыбнулся: — Не сердись, старичок. Шутка. Выпить хочешь?

— Спасибо, не хочу.

— А сивуха у тебя есть? Бриджуотер, поднеси парню.

— Ты же знаешь, я этой бурды в доме не держу.— Бриджуотер достал из шкафчика бутылку, стаканы. И, сразу посерьезнев, разлил вино.

— Давай пей, ходок, пока я поищу тебе штаны и рубаху. Не бог весть что, но до дому в них доходишь.

— А мне больше ничего и не нужно,— сказал я. И осушил стакан.

— А теперь добавь, чтоб лучше проняло,— сказал он и налил мне, не дожидаясь моего согласия.— И вы, ребята, давайте по-быстрому — моя баба вот-вот вернется, а мне ни к чему, чтобы вы на нее пьяные зенки пилили, а она это видела, зачем мне эти дела?

Он кончил рыться в шкафу и протянул мне коричневый свитер с синими рукавами и серые брюки.

— Надень-ка,— сказал он и провел меня в спальню, где я кое-как натянул на себя брюки и свитер. Еле влез в ботинки. Когда я вернулся в комнату, там уже сидели

две девушки; потягивая вино, они оглядели меня с головы до ног. Я взял у Бриджуотера адрес, обещал вернуть ему вещи и ушел.

На улице уже лило как из ведра. Я шел к Мэри.

Я тащился, чуть не полз, по узким улицам, на широкие выходил, лишь когда этого совсем уж нельзя было избежать, и то проходил квартал, не больше, и тут же нырял в улицу поуже. Здесь не было полицейских, да и на тех, что пошире, я встретил всего двоих — бледные, угрюмые, они спасались от дождя под козырьками подъездов.

Я дошел до скрещенья трех улиц и уже собрался перейти дорогу, когда меня толкнули в спину.

— Прощу прощения,— раздался мужской голос.

— Чего там,— ответил я, переступил через бурлящий, пузырящийся поток воды на мостовую, но сплошной поток грузовиков помешал мне оторваться от старика.

— Это опасный переход,— сказал он, голос его звучал настойчиво, но мягко.

— Спасибо, что предупредили,— буркнул я, изменив голос. Загорелся красный свет — как все это выветрилось у меня из памяти. Машины проносились мимо, их шины шелестели по асфальту. Я твердил про себя адрес Мэри. Если ничего не стряется, скоро буду у нее.

— Не откажите в любезности взять меня под руку,— сказал старик. Я оглянулся и только тут посмотрел на него: старик стоял очень прямо, откинув голову назад, в его руке поблескивала белая трость, глаза из-под широкополой шляпы смотрели не на меня, а сквозь стену ливня — за сверкающую огнями улицу, за машины — куда-то вдаль. «Он слепой,— сообразил я, и у меня отлегло от сердца.— Он меня не видит».

— Ладно,— нехотя согласился я: перевести его через дорогу заняло бы у меня минуты две, но мне и этой малостью не хотелось поступиться. И не только в том было дело, что в это самое время меня разыскивали по всему городу, а еще и в том, что мне не терпелось узнать хоть

что-нибудь о себе. Если б не пара, поджидавшая, когда загорится зеленый свет, я б давно отвязался от старика и двинул в другую сторону. Мне необходимо было как можно скорее попасть к Мэри. И, уже выкинув старика из головы, я машинально взял его под руку и пошел прямо на красный свет.

«Слишком уж он легкий,— подумал я, когда мы шли через дорогу.— Люди кажутся такими невесомыми только на воде».

Я не заметил надвигающейся машины. Возникнув из ниоткуда, она заскрежетала тормозами — я оттащил старика, он едва не упал на мокром асфальте, а машина, вильнув, промчалась мимо; сквозь шум дождя я расслышал, как честил меня шофер. Старик стоял рядом, тяжело переводя дух. Я кинул взгляд направо, потом налево. Громко гудя, подъехала, пронеслась мимо машина. Я взял его под руку, сдвинулся наконец с места, я был на пределе. Не знаю, на кого я больше злился, на себя или на шофера. Со стороны могло показаться, будто я подстроил так, чтобы человек, которого я до этого в глаза не видел, угодил под машину.

— Вас не задело? — окликнула нас пара сзади.

— Нет, нет, отнюдь,— откликнулся старик, чуть склонив голову набок.

— Еще бы чуть-чуть, и конец,— обратился он ко мне.— Меня стегануло ветром из-под крыла.

— Так бы его и убил,— вырвалось у меня.— Хотя, если честно, я сам виноват.

— Не огорчайтесь,— сказал он.

— У меня назначена встреча, и я боялся опоздать. Вы уж извините.

— Вы зря расстроились: я что ни день едва не оказываюсь под колесами.

Разбрызгивая воду, наши ноги мерно плюхались в бурные ручьи. Из-под крыльев, из-под колес машин с шумом разлеталась водяная пыль.

— Форменный второй потоп,— сказал он.— Такой ливень должен бы очистить наш мир.

Тем временем мы перешли улицу, я приостановился, чтобы дать ему подняться на обочину. Что это он там плетет?

— Вот мы и пришли,— сказал я.

— Благодарю вас, хочется надеяться, что вы не опоздаете из-за меня.

— Да нет же,— сказал я — чем-то он опять вывел меня из себя.— Просто я тороплюсь...— и двинулся прочь.

— Конечно, молодому человеку редко удастся передохнуть.

Я крутанулся так, словно меня оглоушили, схватил его за руки, уставился ему в лицо: его слова хлестанули меня, точно дождевая струя.

— Повторите еще раз! — рявкнул я.

— Что? — спросил он.— Что такое?

— Повторите!

— Что повторить?

— Чтоб вас! Повторите то, что вы сказали!

— Что я сказал? — терпеливо спросил он.

Я выругался, его незрячие глаза обратились на меня, на лице у него изобразилось удивление, словно его вдруг поразила глухота. Я схватил его за грудки:

— А ну повторите!

— Что именно...

— Что вы сказали насчет «не удастся передохнуть»,— наконец выдавил я из себя.

— Я не... Ах да, я сказал: «Наверно, такому молодому человеку, как вы, не дают передохнуть...»

И пока его слова пробивались в мое сознание, я вглядывался в его лицо, смотрел, как капли дождя срываются, падают с полей его шляпы на мою руку. Почему его лицо мне так знакомо? Я бормотал его слова как заговор, главное, заветное слово которого я забыл...

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.

— Нет...— смешался я.— Пожалуй, что нет. Просто я не так вас понял.

Я смотрел ему в глаза, вдыхал пропитавший его

запах крепкого трубочного табака — он не шевелился, не пытался высвободиться из моих рук.

— Видите ли, ваши слова напомнили мне одного человека, которого я знаю, — сказал я.

— Кого же?

— Не могу вспомнить, — сказал я. Я не мог ни выпустить его рук, ни оторвать глаз от его лица.

— Откуда вы родом? — спросил он. — С Юга?

— Да, но я не могу вспомнить, откуда именно. Вы мне верите?

— Разумеется, — он ничуть не удивился. — Такое бывает... Впрочем, вы не опоздаете, мой мальчик?

— Опоздаю? Куда?

— Вы же торопитесь. Идете на вечеринку? Вы напились сладкого вина?*

Я расхохотался: вот, значит, кто он такой — слепой сыщик.

— Нет, нет, я не на вечеринку тороплюсь. Но, пожалуй, мне пора.

Меня забила дрожь, все же я пробурчал какое-то извинение и освободил его, но он принял мое странное поведение как должное.

— Спокойной ночи, — ласково сказал он, троекратно стукнул палкой, сделал шаг-другой-третий, осторожно ощупывая ногами тротуар, потом уверенно зашагал сквозь дождь. Я смотрел ему вслед в полном разброде чувств. Имя вертелось у меня на языке, но выговорить его я не мог. Глядя ему вслед, я тщетно пытался отделаться от этого смутного чувства. Дождь хлестал всюду. Со мной творилось что-то странное: я знал, что должен спешить, и не мог сдвинуться с места. Я вытирал капли дождя, струившиеся по лицу, прислушивался к стуку его палки. Уж не схожу ли я с ума? Я повторил его слова. Что вызвало такую смуту в моей душе — его лицо или его голос? Или его лицо *и* его слова? Внезапно его лицо засветилось передо мной так, словно я увидел его на экране, и экраном

* Новый завет. Деяния апостолов 2, 13.

служила стена дождя; мне показалось — стоит увидеть его еще хоть раз, и вся моя жизнь переменится.

Я развернулся, хотел кинуться за ним. Спустилась ночь. Справа тянулась пустая широкая улица, застроенная многоквартирными домами, слева — просторная, залитая бетоном детская площадка, забранная густой проволоочной сеткой. Улица была совсем пуста, только какая-то женщина входила в темный дом. Я окинул взглядом ряд унылых лестниц, ведущих в дома. Куда он пропал? Уж не привиделся ли он мне, уж не повредил ли я голову, когда вылезал из люка? Да нет, не может того быть, я все еще чувствовал его легкую руку на своей руке, слышал запах крепкого табака.

Я перешел на шаг, но тут до меня донесся слабый постук палки, и я бросился вперед. Не разозлился я тогда на него за то, что он меня задержал, я разглядел бы его еще там, на перекрестке.

— Эй, вы! Слепой! Эй, вы, мистер... — позвал я его и остановился как вкопанный. Я назвал его по имени — я назвал его именем моего деда! Я огляделся по сторонам, смешанное чувство вины и неловкости овладело мной. Куда он пропал? Я прислушался, ожидая услышать в ответ хохот или проклятие. Пропал. Слышен был лишь шум дождя. Я снова побежал, бежать в чужих башмаках было тяжело — ковылял, хромал, плелся, тащился — и в конце концов выбился из сил и вынужден был остановиться. Квартал тянулся долго, до конца его было еще далеко, а старика и след простыл. Теперь я не сомневался — лицо, с которого сейчас смотрели незрячие глаза, не раз являлось мне во сне. Пусть облагороженное, более терпеливое — это было лицо моего деда.

Я остановился, прислонился к лестнице, которую сторожили два видавших виды каменных льва, и тут же вновь услышал мерный постук. Как ни странно, на этот раз он, гулко отдаваясь в ночи, шел сверху. Я поднял глаза и увидел, как из окна верхнего этажа высунулась мужская рука и выбила трубку о подоконник; пепел вспыхнул искрой

и тут же погас. Я услышал, как он откашлялся, потянулся закрыть окно, и тут кто-то начал жалкую вариацию на дребезжащей трубе. Я выругался, метнулся вперед. Он, наверно, живет в одном из этих домов, подумал я. Он не может быть моим дедом. Забудь про деда, он умер, ты же видел, как он умирал. Тебе так много предстоит сделать, у тебя нет времени гоняться за призраками... И все равно я вслушивался, всматривался — не увижу, не услышу ли его. Но улица была пуста — ни одной машины.

Я повернулся, пошел назад, обшаривая глазами темноту — не будет ли мне ниспослано знамение. Напротив, на ярко освещенной площадке, поблескивал под дождем серый бетон, там неисповедимо почему играл мальчуган — один-одинешенек на огромном сером поле, — он, невзирая на дождь и на поздний час, гонял мяч и пел тоненьким, еле слышным голосом.

Я, не веря своим глазам, смотрел на него минутудругую, потом снова пустился в путь. Где его родители? Я вымотался, проголодался, слишком много всего навалилось на меня разом. То, что должно было отойти в прошлое, вторглось в настоящее, схватилось с ним — и память нахлынула проливным дождем. И хотя я старался не думать о прошлом, память восстановила все: и как я заболел, и как писал письмо попечителям, и как жил в Молодежной гостинице (она же приют), и как был выгнан из колледжа, и Бледсоу — в малейших деталях. Сколько времени прошло с тех пор? Я должен срочно добраться до гостиницы. Впрочем, нет, надо прежде обдумать все на досуге. И я, не сходя с места, решил, что впредь буду взвешивать каждый свой шаг и только потом действовать. Я не имел права на риск. А что, если в гостинице засели полицейские и санитары, чтобы препроводить меня назад в больницу? Сколько времени прошло с тех пор, как меня увезли на «скорой»? Пожалуй, умней всего будет разыскать квартиру старухи Мэри и укрыться у нее, пока я не заполню провалы в памяти. Надо как можно скорее идти к ней.

Мистер Туссан

В стародавние времена
Гусыня вино пила,
Мартышка табак жевала,
Жженой известкой плевала.

*Присказка к негритянским преданиям вре-
мен рабства*

— А хорошо бы вишни все погнили и их бы черви со-
жрали,— сказал один из мальчуганов.

— А хорошо бы поднялась буря, большая-пребольшая,
и все деревья бы повалила,— подхватил второй.

— Во-во,— согласился первый.— А как старый Рогэн
выйдет посмотреть, что там такое стряслось, хорошо бы
на него дерево упало и задавило насмерть.

— Нет, ты только глянь — птицы-то, а? Клюют себе и
клюют, и хоть бы что. А мы всего-то и попросили —
нельзя ли пару несчастных ягодок с земли подобрать,
и он сразу же в крик: пошли вон, паршивцы черномазые!

— Черт его дери,— буркнул второй.— А вот бы у птиц у
этих на лапках яд был!

Мальчуганы Райли и Бастер сидели на крыльце, упершись
босыми ногами в прохладную землю, и смотрели во двор на
другой стороне улочки, с проезжей части которой солнце
уже слизывало тень. Трава на том дворе была ярко-
зеленая, и в лучах утреннего солнца на ней белел чистень-
кий домик. У дома в два ряда росли вишневые деревца,
сплошь увешанные спелыми ягодами — они рдели на фоне
темно-зеленой листвы и тускло-коричневых ветвей. Маль-
чики не отрываясь глядели на старика, а он, раскачиваясь
в качалке, в свою очередь не сводил глаз с них.

— Нет, ты только глянь на старого Рогэна,— фырк-
нул Бастер.— До чего боится, как бы мы у него пару
несчастных вишенок не сперли: торчит на солнцепеке,
даже не сообразит в тень перейти.

— Зато птицы жрут их вовсю,— сказал Райли.

— Да это пересмешники.

— А мне плевать, пересмешники они или еще кто, рас-
селись на ветках, и все дела.

— Ну да, их-то старый Рогэн не замечает. Слушай,
точно тебе говорю: у этих белых умишка ни на грош.

Они умолкли, глядя, как птицы пикируют на вишневые
деревца. За спиной у них мерно постукивала швейная ма-
шинка: мать Райли шила на белых. За работой она пела,
и голос ее, раздаваясь в тишине дома, перекрывал стукоток
машинки.

— Да, петь твоя мама умеет, ничего не скажешь,—
признал Бастер.

— Она в церковном хоре запеваает.

— Да что я, не знаю, что ли,— бросил Бастер.—
Похвалиться охота, да?

Они прислушались: чистый голос плавно взмывал в све-
жем утреннем воздухе:

У меня есть крылья, у тебя есть крылья,

Всем божьим детям дадены крылья.

Попаду на небо, там надену крылья,

Да как вскричу я на все божье небо,

Небо, небо.

Болтают все о небе, а попасть — не попадут

На небо, небо.

А я вот облечу все божье небо,

Небо, небо...

Она пела, и казалось, в словах этих для нее заключен
сокровенный, трепетный смысл, а мальчики слушали, уста-
ваясь невидящим взглядом в землю, и на них словно бы
нисходил исполненный таинственности, торжественный по-
кой церкви. На улице было совсем тихо, даже старый Рогэн
перестал раскачиваться в качалке — слушал пение. Но вот
песня стала затихать, перешла в едва слышный напев,
и деловитый стук швейной машинки заглушил ее.

— Эх, мне бы так петь,— вздохнул Бастер.

Райли молча глядел перед собой: солнце уже успело
выесть прямоугольник тени перед крыльцом и высветило

порхающую бабочку во всем ее ярком великолепии.

— А были бы у тебя крылья, ты что бы стал делать? — спросил он наконец.

— Мать моя мачеха, да я бы помчал быстрее орла, так все и летел бы, куда не очутился за миллион, миллиард, триллион миль от этого паршивого городишки.

— Слушай, а куда бы ты полетел?

— На север. Может, в Чикаго.

— Слушай, а мне бы крылья, а бы все летал и летал, нигде б не садился.

— Знаешь, я тоже. Мать моя мачеха, да на крыльях куда хочешь лететь можно, даже на солнце, только уж больно оно горячее.

— ... Дернул бы я в Нью-Йорк...

— Даже вокруг звезд облетел бы...

— Или в Ди-тройт*, штат Мичиган...

— Эхма, можно бы от Луны ломоть сыру отрезать, на Млечном Пути молока напиток...

— Или еще куда полететь, где цветные — вольные люди...

— А спорим — я мертвую петлю сделаю...

— И спустишься на парашюте...

— Приземлюсь в Африке, наберу знаешь сколько алмазов...

— Ну да, а тебя там людоеды сожрут, к чертям собачьим,— объявил Райли.

— Фиг-то, не успеют они. Я рраз — и улечу...

— А они тебя поймают да как всадят в задницу копыя, во какие длинные! — стоял на своем Райли.

Тут Бастер рассмеялся, и Райли мрачно покачал головой:

— Слушай, да пока они тебя прикончат, ты же будешь весь истыкан — точь-в-точь черная подушечка для иглол.

— Черта лысого, не поймать им меня — слушай, они же ленивые, недоделки эти. В учебнике по географии про них прямо так и написано — мол, самый ленивый народ на свете,— осуждающе проговорил Бастер.— Черные-пре-черные, и все до одного — лентяи.

* Искраженное Детройт.

— А вот и нет! — взорвался Райли.— Не такие уж они черные и совсем не лентяи.

— Нет, черные, нет, лентяи! Так в учебнике по географии написано!

— Ну, а мой старик говорит, никакие они не лентяи.

— Это как же?

— А вот так: мой старик говорит, у них там в Африке и цари есть, и алмазы, и золото, и слоновая кость, а раз у них столько всего есть, не может такого быть, чтоб все они были лентяи,— настаивал Райли.— Скажешь, здесь много найдется цветных, чтоб имели такие богатства?

— Да нет, какой там. У них бы белые все поотбирали,— сказал Бастер.

Думать, что не все негры — лентяи, было приятно. И, следя взглядом за сизым голубем, что, плавно пролетев над улочкой, опустился там, где недавно прошла лошадь, и стал рыться в конских яблоках, Бастер старательно припоминал все, что когда-либо слышал об Африке. На память ему пришла одна из рассказанных учительницей историй, но тут по улице пронеслась легковушка, сизарь вспорхнул и, задев крылом верх машины, стал медленно набирать высоту. Мальчик следил за ним, покуда он не исчез из виду над крепко натянутыми телефонными проводами. На душе у Бастера стало хорошо. Райли большим пальцем ноги выводил на мягкой земле свои инициалы.

— Знаешь, чего я тебе скажу, Райли, не все они там, в Африке, такие уж лентяи.

— Само собой,— согласился Райли.— О том и разговор.

— Во-во, и учительница тоже говорила. Она нам про одного парня из Африки рассказывала, Туссан* его звали, так он Наполеона побил.

Райли перестал водить ногой по земле, кинул на Бастера уничтожающий взгляд:

* Имеется в виду Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр (1743—1803), один из руководителей освободительной борьбы гаитянского народа против английских интервентов (1793—1798) и французских колонизаторов. В 1801 году провозгласил отмену рабства на Гаити.

— Ты чего это вдруг заливать вздумал?

— Да она так говорила.

— Эй, кончай брехать!

— Да не сойти мне с этого места...

— Так и сказала — *африканец?*

— Вот как бог свят...

— Нет, правда?

— Ей-богу, правда. Говорит, он был из такого места, Гаити* называется.

Райли пристально посмотрел на Бастера, и, когда убедился, что тот говорит всерьез, радостное возбуждение охватило его.

— Бастер, вот на что хочешь спорим, все ты врешь. Что говорила учительница?

— Слушай, она вправду говорила: этот самый Туссан и его воины, они забрались там, в Африке, на высокую гору, а эти белые слизни за ними поползли, тут Туссан всех ихних солдат и перебил...

— Ух, здорово, черт побери! — выкрикнул Райли.

— Да, брат, всех-то они их перестреляли... — радостно выпевал Бастер.

— Ой, расскажи, как это было!

— Ага, и сбросили их с горы...

— Вот это да!

— Тогда Туссан и его воины давай гнать белых по песку...

— Ух ты! Бастер, а на его воинах чего было надето?

— Мундиры у них были красные, шапки синие, все золотом изукрашены, а сабли так и сверкают — клинки-то из самой что ни на есть лучшей дамасской стали...

— Из лучшей дамасской стали!

— ...Во-во, из дамасской стали! — выпевал Бастер.

— А орудия у них были?

— Ну как же — черные пушки, во какие большие!

— А куда этот, как его, погнал белых слизней?

— Туссан его звали.

— Туссан! Вроде бы как Тарзан.

* Искаженное Гаити.

- Да не Тарзан, дурья башка. Тус-сан!
- Туссан! И куда старина Туссан их погнал, белых-то?
- На берег, куда же еще...
- На берег реки...
- ...А там их корабли дожидались, во какие большущие...
- ...Ну дальше, Бастер, дальше!
- А Туссан давай по тем кораблям палить...
- ...По кораблям палить...
- ...Ага, давай по кораблям палить...
- Ух, черт!!
- Из больших-пребольших пушек...
- Ох, здорово!
- А те пушки-то из меди...
- ...Из меди...
- ...А ядра у пушек черные — они знаешь сколько белых поубивали...
- ...Ух ты черт!
- ...Друг, пушки стреляют, и тут они, белые рыла, как завопят: «Пощадите, мистер Туссан, мы больше не будем!»
- А Туссан что?
- Друг, он как закричит, громко, знаешь ты, басом: «Утопить бы вас, сволочей, всех до одного!»
- А они, белые?
- А они все вопят: «Пощадите нас, пощадите, пощадите нас, мистер Туссан!..
- ... Мы больше не будем!» — подхватил Райли.
- ... Во-во. «Мы больше не будем!» — возбужденно повторил Бастер. Он бил в ладоши, топал в такт ногами, черное лицо его так и сияло — он весь был во власти ритма.
- Во как!
- А старина Туссан что?
- А он им громко так, басом: «Вы, белые, лучше ко мне не лезьте. Я добрый папа Туссан, вот я кто, а негры мои — ух какие охотники до белого мяса!»
- Ха! Ха! Ха! — от хохота Райли согнулся пополам. Ритм все еще пульсировал в нем, он готов был слушать и слушать без конца...

— Бастер, ты же сам знаешь, никакая учительница никаких этих баек тебе не рассказывала.

— А вот и рассказывала!

— Так она, значит, и говорила — был, мол, такой человек и он сам себя называл добрый папа Туссан?

В голосе Райли вдруг зазвучало недоверие, во взгляде его появилась непонятная Бастеру грусть. И тогда Бастер опустил голову, ухмыльнулся.

— Ну, все равно,— сказал он.— Вот на что хочешь спорим: точно так старина Туссан и сказал. Сам ведь знаешь — взрослые они не умеют путем рассказывать — ну, кроме совсем-совсем старых, вроде бабушки.

— Это да, не умеют они,— согласился Райли.— Всегда у них самый смак пропадает.

Он встал с горделиво-мрачным видом, широко расставил ноги и засунул большие пальцы за пояс штанов.

— Слушай, Бастер, дальше рассказывать буду я. На что хочешь спорим: старина Туссан стал вот так, глянул на этих белых сверху вниз и говорит тихо так, вежливо: «Я же просил вас, белых, чтоб вы больше ко мне не лезли...»

— Во-во, чтобы больше к нему не лезли...— выпевал вслед за ним Бастер.

— «...Ну а вы все лезете, лезете...»

— А потому, что Туссан и его люди — чернокожие.

— Во-во,— подхватил Райли.— И до того старине Туссану стало обидно, до того он рассердился — у него даже слезы покатились.

— ... Ух до чего ему стало обидно...

— И тут он сказал, громко так, басом: «Черт бы вас, белых, побрал — и чего вы никак не можете оставить нас, негров, в покое?»

— ... А сам плачет...

— ... И Туссан говорит белым слизням: «Честью прошу, оставьте вы нас в покое»...

— ... На коленях их умолял!..

— Потом Туссан еще пуще рассердился: как сорвет с себя шапку и давай ее ногами топтать, а у самого слезы

так и катятся. «Вы,— говорит,— мне все о Наполеоне толкуете...»

— Слушай, это они его застращать хотели...

— ... «А мне,— говорит,— на вашего Наполеона плевать...»

— Он о нем и думать не думал...

— ... Туссан и говорит: «Чего вы меня все страшаете? Наполеон, ведь он всего-навсего человек!» Потом как выхватит свою блестящую саблю — вот так — и давай размахивать ею, рраз-рраз — прямо у этих белых перед носом, вот-вот головы им снесет.

— Ну дальше, дальше. А потом он что? — торопил Бастер.

— А потом он знаешь чего говорит: «По правде, надо бы вас, белых, всех перебить к чертовой матери!»

— Вот это верно — он и перебил их,— выкрикнул Бастер. Он вскочил, стал азартно рубиться сразу с пятью противниками, отчаянными храбрецами, и проткнул их всех, одного за другим, своей саблей из лучшей дамасской стали.

Райли смотрел на него с крылечка, улыбаясь во весь рот:

— Видать, Туссан до смерти их напугал, этих белых!

— Само собой,— подтвердил Бастер. Ритм уже затихал в нем, и, тяжело дыша, он снова сел на крыльцо.

— Да, история что надо,— сказал Райли.

— Мать моя мачеха, да наша учительница, она всегда нам хорошие истории рассказывает. Славная она, наша училка. Только знаешь чего?

— Ну, чего?

— В учебниках ну ни одной такой истории нету! А почему?

— Черт, да ты сам мог бы понять почему. Больно круто он с белыми обошелся, старина Туссан. Вот почему.

— Да уж, он был человек крутой!

— Да и злой...

— Но по-хорошему злой!

— Туссан, он был справедливый...

— ... Крутой, по-хорошему злой, справедливый,— вставил Райли.

— Слушай, он был мировой, а? — сказал Бастер.

— Ра-а-ай-ли!

Мальчуганы разом прекратили игру и застыли, широко раскрыв рты.

— Кому говорят! — вновь раздался голос матери Райли.

— Мэм?

— Услыхала, поди, как мы ругаемся,— прошептал Бастер.

— Да заткнись... Ты чего, ма?

— Я говорю — сейчас же марш на задний двор, там и играйте. Ишь разорались на всю улицу! Белые и так говорят — стоит нам, неграм, куда-нибудь въехать, всей округе житья нет. А вы как нарочно такой гам подняли — хотите им на руку сыграть, что ли? А ну марш на задний двор, живо!

— Ой, ма, да мы просто играем, ну, ма...

— Тебе что сказано!

— Ну, ма...

— Ты слышал, что я сказала?

— Да, мэм. Уходим, уходим. Пошли, Бастер.

Бастер побрел за ним, и, когда они вошли в тень, босые ноги его ощутили прохладу росы на траве. Он спросил:

— Слушай, а чего он еще сделал?

— Кто? Рогэн?

— Тьфу ты пес, я про Туссана спрашиваю.

— Да я ничего больше не знаю, лопни мои глаза. Вот спрошу учительницу.

— Ох и боевой он был, черт, а?

— Да уж, с ним шутки были плохи,— сдержанно проговорил Райли. Он уже думал о другом и, легко скользя по низко подстриженной траве, запел, приплясывая в такт:

Старушка-болтушка

Жевала мочало,

Тут и истории

Нашей...

— Эй, послушай,— прервал его Бастер.— Пойдем поиграем в проулке...

Тут и истории...

— Может, залезем куда, вишен наберем, а?

Тут и истории

Нашей... конец,— допел Райли.

Вам никогда не снились счастливые сны?

Второпях простились, захлопнулась дверь, и они остались одни за столом над прахом праздничной индейки, но еще тянули шеи вслед молодому смеху, откуда он слышался на лестнице. Потом лязгнули двери лифта, веселые голоса канули вниз, и тогда они огорченно посмотрели друг на друга, и в комнате неожиданно оказалось тихо и пусто. Всем троим — и Мэри, и миссис Гарфилд, и Портвуду — было жаль, что молодые жильцы ушли, Портвуд обиженно буркнул, что они простофили и попались на удочку, и Мэри сразу к нему прицепилась.

— Это они-то простофили? — с вызовом повторила она. — Да вы и не видели никогда настоящих простофиль!

— Нет, постойте, — сказал Портвуд и отодвинулся от стола. — Это кто же не видел-то? Вы о ком это говорите?

— О вас говорю, — ответила Мэри. — Ребятки убежали в дансинг-холл, значит, кроме как о вас, не о ком. То есть я хочу сказать, вы о простофилях никакого понятия не имеете.

— Ну-ка дайте мне отсюда уйти, — вознегодовал Портвуд и встал. — Миссис Гарфилд, ведь она опять врать налаживается. И вообще не понимаю, почему мы должны жить под одной крышей с этой бессовестной вруньей? Врет да еще людей задирает. Это я-то не видал простофиль?! Да их у меня перед глазами на вокзале за двадцать пять лет знаете сколько прошло...

— А вы садитесь. Садитесь где сидели, — сказала Мэри

и притронулась ладонью к пузатому стеклянному графину.— Некуда вам отсюда податься, во всем белом свете нет для вас места, потому, я думаю, что болтаете много.

Миссис Гарфилд посмеивается в приятном предвкушении. Ей это все знакомо. Бывшая повариха, похоронившая мужа, она жила вместе с Мэри почти так же давно, как Портвуд, и знала, что такая перепалка — всего лишь прием, с помощью которого Портвуд раззадоривает в Мэри рассказчицу, а для Мэри это зачин очередного рассказа. Мэри отвела глаза от сердитого лица Портвуда и посмотрела в окно — вдали, за крышами Гарлема, высились туманные небоскребы. Там шел дождь.

— В эту зиму на улицах ох как холодно будет,— сказала Мэри.— Сами, поди, знаете.

— А мне что за дело,— отозвался Портвуд.— Или вы думаете меня своим враньем из дому выжить? У меня и в мыслях нет съезжать отсюда.

— Съедете,— пригрозила ему Мэри.— Рады будете ноги унести. Потому как могу доказать, что вы кругом не правы и о простофилях никакого понятия не имеете.

— Вот вы нам и расскажите, мисс Мэри,— поощрила ее миссис Гарфилд.— Не обращайтесь на Портвуда внимания. Портвуд сел и удрученно потряс головой.

— Ну, теперь пойдут враки. Так и знайте, миссис Гарфилд, вы сами напросились. Вы только посмотрите на нее,— голос у него негодуяще зазвенел.— Сидит, разважничалась, что твоя проповедница за кафедрой.

— Портвуд, сколько раз я вам говорила: ведите себя прилично! — начала было Мэри, но вдруг суровый фасад ее лица рухнул, и все трое покатались со смеху.

— Да тише вы,— вытирая глаза, произнесла наконец Мэри.— Будет.

— Смех смехом,— возвратился к своей мысли Портвуд,— а я говорю, эти нынешние юнцы — простофили. Черные, а думают на «кадиллаке» в рай въехать. Они считают, они образованные, а мы, стало быть, то есть старые люди с Юга,— дураки и ничего не смыслим в жизни, и в любви,

и вообще как на свете жить. Настоящие простофили, это я вам говорю. Да если бы мы не разбирались в жизни, как бы мы тогда сумели так далеко заехать и так долго на свете прожить? Нет, вы мне ответьте!

— Ну, ну, Портвуд,— с мягкой укоризной сказала миссис Гарфилд.— Не так уж они плохи. Просто им мир видится иначе.

— Вы мне не рассказывайте! Сколько я их наблюдаю, когда они из вагонов высыпают. Их тысячи передо мной прошли за те годы, что я работаю носильщиком, и все, можно сказать, один другого зеленее. И эти, что у нас квартируют, мамочка, не лучше. Вы вот им какой праздничный обед закатали, а им некогда до конца досидеть, подхватились, и след простыл. Настоящие простофили, даже вежливого обращения не знают. Не хватает соображения понять, что во всем Гарлеме нет второй такой глупой старухи, чтобы сдавала комнаты и притом обращалась с жильцами как с родными. А вы мне говорите.

— Тссс! — прервала его миссис Гарфилд.— Кажется, вернулись.

С лестницы донесся стук лифта, громкие голоса. Все трое замерли, прислушиваясь. Веселые звуки усилились, приближаясь, но прошли мимо, смешались с отдаленным звонком и заглохли за чужой дверью. Они смущенно переглянулись, а миссис Гарфилд вздохнула.

— Как бы не так,— проворчал Портвуд.— Да они сейчас, поди, двери в дансинг-холл высаживают. Я же говорю, они...

— Будет вам, Портвуд,— остановила его Мэри.— Простофили, значит? — повторила она гортанно и нараспев, в ее голосе вдруг послышались южные нотки и трубные отзвуки проповедей и блюзов.— Господи! Вот я так и вправду оказалась один раз простофилей. О чем вам и толкую, понятно? Слышите меня все? Я, я, Мэри Рэмбо, сваляла дурака, облапошилась как последняя простофиля.

— Рассказывайте! — засмеялся Портвуд.— А то я так не знаю.

А сам вместе с миссис Гарфилд подался вперед, весь уже

во власти рождающейся сказки, готовый, как на молебне, распеть заданный мотив: о легковерии человеков.

— Давайте-ка,— сказала Мэри, одной рукой подняв графин, а другую протягивая за их стаканами.— Хлебнем еще понемногу, разогреем стариковскую кровь.

Они торжественно выпили и ждут, очи долу, чтобы старушечье контральто Мэри возобновило свой взлет, свое восхождение к трагикомическим высотам.

— Да, вот уж действительно оказалась простофиля так простофиля,— завела она снова.— Изо всего народа, кто снялся с земли и переехал в город, самая что ни на есть последняя дурочка, вторую такую поискать. Вы вон пеняете ребятам, что побежали в дансинг-холл, услышали, будто там легко выиграть машину в лотерею,— только это пустяки, не сравнить, какого дурака сваяла один раз я. Я тогда не хуже наших ребят разинула рот на даровые денежки. А ведь взрослая была, не то что они. Времена стояли тяжелые. Муж мой возьми да и помри, а я только и смогла устроиться что на неполный рабочий день, так и досыта не ели. У нас с моей дочкой Люси не было даже десяти центов на кино, забыли об нем и думать. И вот как-то вечером сидим мы с ней, господь мне свидетель, у окна, смотрим, что на улице делается. Знаете, как у нас тут бывает в летнюю пору после жаркого дня, чуть только зной начинает спадать,— люди выходят прогуляться или в дверях посидеть, из окон высовываются, перекликаются, детишки бегают, возятся, визжат, выпрашивают мелочь на любимый свой крошенный лед под красным сиропом. Собаки лают... Да вы сами знаете, как у нас тут бывает летом. Разговоры, шум, негры смеются во всю глотку, музыкальные автоматы наяривают, ну и вообще. Вот такой как раз был денек, и время как раз такое, у трясунув в молитвенном доме за углом уже начались пляски — слышно, как они в ладоши хлопают, и кричат, и в бубны бьют и брякают, и старый их армейский горн выводит: Ту-ру! Ту-ру-ру-ру! Ну, будто он и в самом деле имеет касательство к делам господним. И тут вдруг два автомобиля вздумали потягаться, чья возьмет.

— Авария? — подхватил Портвуд.— Как в газетах пишут, дорожное происшествие?

— Вот именно,— кивнула Мэри и отхлебнула глоток вина.— Ужасная автомобильная катастрофа. Мы с Люси сидим у окна на четвертом этаже, и это все стряслось прямехонько под нами.словно два разъяренных быка сшиблись с разгону. Говорю вам, миссис Гарфилд, страшное дело. Вот представьте,— она повезла по скатерти два ножа,— один едет вот отсюда, другой вот оттуда, съехались и — тррах!!! И из того места, где они столкнулись, что-то как выстрелит, ну будто пушечное ядро. Потом на минутку стало тихо — вроде как все, сколько там было народу, разом набрали воздуху в грудь. Только из молитвенного собрания слышны хлопки и звон бубна, и дурацкий их горн глотку дерет, можно подумать, что подошла его очередь слово божие проповедовать. А затем — господи всемогущий! — она всем телом качнулась вперед,— такое поднялось! И стекла-то сыпятся, и пыль столбом, и визгу женского! Отшумело — и опять тихо, только слышно, как пятки по асфальту стучат, сбегаются негры со всех сторон...

— Да ладно про пятки,— сказал Портвуд.— Что выстрелило-то?

— А я к чему веду, неужели не понятно? Мы с Люси видели, как при ударе что-то взвилось кверху, наподобие кометы, и в сторонке упало. Люси говорит: «Мама, вы заметили, что я заметила?» — «Пошли, детка,— я ей в ответ,— скорее бежим вниз». И тут мы, люди добрые, как припустили! О господи, ну и летели же мы по лестнице. Я даже не успела скинуть передник и домашние туфли, так прямо и запрыгала вниз по ступеням. А там что делалось! Сбежались все, кому только не лень, толпятся, смотрят, нет ли убитых, измеряют тормозной путь, это след от шин, ждут, когда приедет «скорая помощь», сто раз умереть можно, пока они прибыли...

— Ну и как же, мамочка, были пострадавшие?

— Да, были, только я тут никому не мамочка, подумаешь — сыночек, эдакий большой старый негр. Еще бы не

было пострадавших. Один мужчина был весь изранен и в крови, другой без памяти лежал, совсем как неживой. Думали, помер.

Но только нам с Люси некогда было и не до того. Мы сразу бросились искать то, что из машины вылетело. Я спрашиваю ее шепотом: «Девонька, куда оно упало-то?» А она указывает у самой бровки тротуара. И верно, бреду я эдак в шлепанцах вдоль водостока, ногу волоку и вдруг задеваю за что-то тяжелое, слышу,брякнуло металлом, так у меня чуть сердце не выскочило...

— Боже мой, мисс Мэри! Что же это было? — возбужденно спрашивает миссис Гарфилд.— Неужели же...?

Мэри осаживает ее взглядом.

— Скоро узнаете,— говорит она и пригубливает вино в стакане.— Дайте рассказать по порядку. Так вот, зову я Люси: «Поди-ка сюда, доченька, на минутку!» А сама оглядываюсь: не смотрит ли за мной кто? Люси подошла, а я ей шепотом: «Не показывай вида, что мы что-то нашли, а зайди с другой стороны и пни будто бы меня по ноге. Давай, давай,— говорю,— девонька, пинай и не спорь со мной... Да смотри осторожней, не попади по косточке!» И она, о господи, как саданет ногой и прямо по мешку. Тут уж у меня сомнений не осталось, потому как я ясно услышала тот сладостный металлический звук. «По-твоему, это что?» — спрашиваю, а она подалась к самому моему лицу, глаза круглые, как два серебряных доллара, и отвечает: «Мамаша (она всегда звала меня «мамашей», а не «мамой», если разволнуется, или на людях там, или еще что), мамаша,— говорит,— это деньги!» — «Тише, глупая,— учу я ее.— Зачем всему свету-то докладывать?» — «Но что же мы, мамаша, будем делать?» — «Постой секунду,— говорю.— Смирно постой и помолчи. Сделай вид, будто просто так стоишь, смотришь, что там творится возле машин. Дай мне спокойно все обдумать...»

Мэри засмеялась.

— А с меня пот градом! Ну! Подумать только, стою посреди улицы, под ногой — мешок чужих денег, и ума

не приложу, как быть. Об эту пору уже полиция понаехала, того гляди, кто-нибудь из пострадавших хватится и шум подымет. Говорю вам, я за пять минут пять фунтов весу потеряла, гадаючи, как нам быть.

— Как жаль, я вас тогда не видела, мисс Мэри,— сказала миссис Гарфилд.

— Слава богу, что не видели, у меня и без того голова шла кругом. С ума сойти! Чуть кто в нашу сторону шаг делает, я прямо обмираю. А Люси на месте топчется, туда-сюда поворачивается, будто новомодный какой танец отплясывает. И мне приговаривает: «Сделайте же что-нибудь, мамаша! Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь, да поскорее!» А я уж совсем обессилела и прямо где стояла плюхаюсь на приступку тротуара. Села и мешок ногой себе под юбку заталкиваю. О господи наш предвечный! — возгласила Мэри и тут же осеклась, заметив, что Портвуд положил руки на стол, спрятал в них лицо и беззвучно смеется.— Ну, в чем дело, глупая ваша голова?

— Давайте, давайте, врите дальше,— отвечает Портвуд.— Не обращайтесь внимания. Выходит, у вас в тот день на уме было воровство.

— Н-да, так вот,— усмехнулась Мэри.— А тут вдруг подходит к нам старая миссис Брейзлтон, настырная такая старуха, на одной площадке с нами жила, и кудахчет: «Ах, мисс Мэри, виданное ли дело, чтобы женщина с вашим положением в обществе сидела прямо на тротуаре, как самое никчемное ничтожество?» Словно у Мэри сейчас другой заботы нет, как только о том, чтобы кто о ней дурно не подумал. Ну, вижу, ее надо на испуг брать, иначе от нее не отделаешься. «Вот что, миссис Брейзлтон,— говорю я ей,— сию я, если хотите знать, на собственной моей старой заднице, и покуда я ее таскаю без вашей помощи, имею право приложить, куда мне заблагорассудится».

— Грубо, мамочка,— звучным басом произносит Портвуд и осуждающе хмурит брови.— Фу, как грубо.

— Говорила я вам, чтобы не звали меня мамочкой! — сердится Мэри.

— Да ладно, врите дальше,— примирительно говорит Портвуд.— Что потом-то было?

— Я тоже знаю таких людей,— замечает миссис Гарфилд.— С ними приходится иногда прибегать к крайним мерам.

— Знаете? — подхватывает Мэри.— Вот именно что к крайним, это вы правильно сказали. Видели бы вы, какое у нее стало лицо. Я не хотела обижать глупую старушку, да мне надо было, чтобы она от меня отвязалась.

Ну, она ушла, а я все сижу, и у меня душевная борьба: то ли мне объявить о своей находке, то ли так унести ее к нам на четвертый этаж. Не то чтобы я хотела совершить нечестный поступок, вы не думайте, но если уж у нас в Нью-Йорке кому что обломится на дармовщину, я, как все, считала, что тогда пусть мне. Да к тому же надо быть последним дураком, чтобы такие деньги возить с собой в автомобиле, и поделом ему, если они пропадут.

— Истинная правда,— кивнул Портвуд.— Именно что поделом.

— Тут вдруг Люси трясет меня за плечо: «скорая помощь» подъехала с воем. «Мамаша, нам бы лучше бы уйти»,— говорит мне Люси. Что делать? А полицейские уже начали оттеснять публику, сейчас и к нам подойдут, а тогда от них не скроешь, что за яйцо я под юбкой высиживаю. И тут меня осенило: ведь на мне передник повязан! Господи ты боже мой, опускаю руку, трогаю мешок, и сердце у меня припускает по девяносту миль в минуту. Там, похоже, денег — целая гора! Сквозь толстую материю слышно, как монеты друг о дружку брякают. «Люси, детка,— шепчу,— встань, загороди свою старуху, пока она эту тяжесть к себе под передник перекатывать будет».

— О, мисс Мэри,— покачала головой миссис Гарфилд.— Вы поддались дьяволу.

— Прямахонько к нему в лапы угодила, сестрица, в косматые ручищи. И Люси — моя сообщница. Она меня по-нукает, и лишь только я успела подобрать мешок да спрятать, подходит к нам полицейский.

— О господи Иисусе! Мисс Мэри! — вскрикивает миссис Гарфилд.

— То-то и оно, моя милая. Вы даже и представить себе не можете, что я пережила. Молодой такой, здоровый парень, из тех, которые чуть что лезут драться, чтоб свою власть показать. Двигается прямо на Люси, будто кувалда, людям направо и налево велит: проходите, мол, не задерживайтесь. А меня еще не заметил, я ведь на тротуаре сижу. Он подходит к Люси, а я сразу начинаю стонать и охать, будто мне нехорошо. «Простите нас, начальник,— говорю и лицо от него прячу.— Мы сейчас уйдем». Он шею сразу вытянул, точно индюк, за спину Люси заглянул, меня увидел и, представьте, спрашивает: «Что с вами, мадам? Вы, может быть, тоже пострадали в этой катастрофе?» Добрым таким, участливым голосом. И тут Люси — господи, ну и хитрая же она оказалась девчонка, я до той минуты и не знала, что моя родная дочь может лгать,— Люси смотрит полицейскому прямо в глаза и говорит: «Мы сейчас уходим, начальник. Моей матери, понимаете, стало дурно при виде крови».

— Ах, мисс Мэри! Так прямо и сказала?

— Ну да. И подействовало! Полицейский ко мне наклонился, хотел помочь подняться, а я ему: «Спасибо, начальник, вы не беспокойтесь, я секундочку еще посижу, и все пройдет». И тогда он нас оставил и прошел дальше. Тут я быстренько подвернула под мешок низ передника, встала, а сама кряхчу и охаю, и пошли мы с Люси через улицу, я согнулась в три погибели, а она меня вроде как поддерживает. А в мешке том, если по весу судить, о господи! — так фунтов тысяча будет, никак не меньше. И с каждым моим шагом их еще прибывает. А нам пройти не дают, каждый сосед останавливает, спрашивает: «Что с вами, мисс Мэри, вы больны?», «Люси, что случилось с твоей матерью?», «Может быть, нужно доктора?», «Бедняжка перенервничала» — и все в таком духе. Еще бы не перенервничала, меня от этого мешка, того гляди, удар хватит.

Пока добрались до своей квартиры, из меня прямо сердце

вон — шлепнулась в кресло и сижу дух перевозу. Даже мешок из-под передника не вынула. А с Люси прямо истерика: «Откройте скорее, мамаша, посмотрим, что в нем». Но я прикинула, что лучше нам с этим делом погодить, ведь там еще, в конце концов, могут хватиться, начнут ходить искать. Понимаете, когда уж я столько трудов положила на то, чтобы донести мешок к себе домой, я решила обязательно оставить его себе...

— Поддались дьяволу,— опять сказала миссис Гарфилд.

— Это я-то? — Мэри снова потянулась за стаканом.— Да я уж тогда давным-давно через все это переступила.

— Да, сей мир — юдоль испытаний,— задумчиво произнесла миссис Гарфилд.— Это я вам точно скажу.

— И не ошибетесь,— кивнула Мэри,— потому как это истинная и горчайшая правда.

— Ну, и что же вы тогда сделали, мисс Мэри?

— Давайте-ка сюда стакан, Портвуд,— распорядилась Мэри, взявшись за графин.

— Да ну его, вино,— сказал Портвуд и прикрыл свой стакан ладонью.— Что дальше-то было?

— А что? Мы пошли в уборную... да нет, вы погодите,— сердито говорит она Портвуду,— пошли в уборную, я встала на стул и опустила свою находку в сливной бачок.

— Ну, мисс Мэри, знаете ли!..

— Да, да, сестрица. Уж там-то, я знала, никому не придет в голову искать. Надежнее и на небе не спрячешь, верное дело. Сунула я его в бачок, а Люси отослала обратно на улицу разузнать, не хватились ли мешка. Она битый час на улице толкалась. Там понаехало народу, из полиции и из газет, фотографировали, задавали всем вопросы, записывали, но о мешке — ни слова. Даже когда прибыла аварийная команда и уволокла оттуда всю эту грудку новехонького металлолома — все равно о мешке никто даже не заикался.

— Все в вашу пользу складывалось! — обрадованно заметил Портвуд.

— Ага, нам улыбнулась удача.

— И все-то вы насочиняли, мамочка,— Портвуд снова напустил на себя строгость.— Почему вы раньше нам эту байку никогда не рассказывали?

— Велика сила дьявола,— вздохнула миссис Гарфилд.— Почти так же велика, как и господа нашего. Но все-таки очень даже странно, чтобы никто не хватился такой крупной суммы.

— Вот и мы с Люси так подумали...

Портвуд шлепнул ладонью по столу.

— Нет, вы мне лучше скажите, сколько там денег оказалось, в том мешке?

— Потерпите минутку, я ведь к этому и веду,— сказала Мэри.

— Да, но зачем же так долго тянуть?

— Кто из нас рассказывает, Портвуд, вы или я?

— Рассказывали вы, покуда с пути не сбились.

— Портвуд, не забывайте о хороших манерах,— сделала ему замечание миссис Гарфилд.

— А я и не забываю, но вы тут вроде как думаете, что в сказке деньги достаются не легче, чем в жизни их можно заработать на перроне носильщиком.

— Или чем заставить вас держать рот на запоре,— съязвила Мэри.— Только мы их тогда не пересчитали. Побоялись. Я понимала, что поступаю дурно, присваиваю себе чужое, хотя это бы меня не остановило.

— Чур, моя находочка, как у маленьких,— мирно сказал Портвуд и откинулся на стуле.

— Ага, вот именно что, чур, моя.

— Но как же так вы даже не взглянули на деньги, мисс Мэри?

— А побоялись, что не удержимся и захотим чего-нибудь купить, девонька.

— Ну да, и выдали бы себя,— кивнул Портвуд.

— То-то и оно! А мешок, он и неразвязанный свое дело делал. Сидим мы с Люси, как две наседки, и гадаем, сколько в нем денег. И в долларах или по пятьдесят центов. Решили

в конце концов, что золотыми десятками, а то и пятерками, уж очень тяжесть большая.

— Как только вы смогли удержаться и не посмотреть? — недоумевала миссис Гарфилд.

— Со страху, девонька, со страху. Как детишки, которым дали подарок к рождеству и сказали, что нельзя его прежде времени открывать, он исчезнет. И знаете ли еще что? Ни она, ни я в жизни своей так часто не бегали в уборную, как тогда, когда у нас там лежал мешок в сливном бачке. Дернешь за ручку и слушаешь, как в нем эдак тоненько брякает.

Портвуд закричал.

— Ну, так я и знал,— говорит он.— Знал, что вы врать будете.

— А вы помалкивайте,— со смехом отозвалась Мэри.— Представляете себе, каково нашим соседям было слушать, как мы то и дело воду спускаем? Но говорю вам, я как дерну цепочку — и на мой слух будто в касе звоночек звенит. Ну прямо совсем голову потеряла. Захожу туда, побуду немного, снова выйду, оглянуться не успела, а уж после меня Люси заходит. Потом друг дружки стыдно стало — норовили украдкой проскальзывать, она от меня прячется, я от нее. Говорю вам, тот мешок оказывал на нас свое действие не хуже слабительной соли! За два-три дня я до того дошла, что работать не могла, только все сижу да думаю про тот несчастный мешок. И понятно, сижу думаю все больше на стульчаке.

— Ну не говорил я вам, что она врать налаживается? — хохочет Портвуд.— Лучше пусть перестанет, не то я не я буду, если полицию не вызову.

— Я не вру, а рассказываю вам истинную и горькую правду,— возразила Мэри.

— Я бы ни за что не вытерпела, мисс Мэри. Я бы так долго не смогла тянуть.

— Им бы уже пора начать розыск,— сказал Портвуд.— Эдакая прорва деньжищ.

— Вот и мы так считали,— кивнула Мэри.— И диву да-

вались: почему об этом до сих пор ни слуху ни духу? Сначала решили, что, верно, тот человек, который был весь в крови, после умер. Но потом прочли в газетах, что нет, он поправился.

— Наверно, это были гангстеры,— предположил Портвуд.

— Ага, мы тоже так подумали. Гангстеры или бутлегеры.

— Ну да, и те и эти могли иметь при себе такие деньги.

И еще игроки.

— Верно. И они тоже. Мы с Люси так думали, что они, поди, считают, ихние деньги полиция забрала, а может, заехали сами их разыскать, втихую, своими средствами.

— Ну, мисс Мэри, с вашей стороны это либо храбрость, либо безрассудство.

— Ни то, ни то, девонька. Просто голод и нищета. А насчет храбрости даже и не говорите, мы так трусили, вечерами, если позвонят в дверь, отпереть боялись. И все время, должна вам сказать, мы с Люси строили сказочные планы. Дошло до того, что мне уже кусок в горло не лез, а Люси потеряла сон. Озверели, как две медведицы с приплодом.

— Не по силам оказалось бремя благоденствия, а, мамочка?

— Вот именно что бремя. И всякий раз, как мы дергали цепочку, в нем по несколько долларов прибавлялось.

Миссис Гарфилд улыбнулась:

— Мистер Гарфилд всегда говорил, что обладание большими богатствами приносит с собой мучения и беды огромной ответственности.

— Миссис Гарфилд,— задумчиво проговорила Мэри,— он у вас был редкого ума человек. Так и знайте. Когда у человека в руках такое богатство, он обязан хоть сколько-нибудь да пустить в оборот. Вот и мы с Люси, даже не глядя на наши деньги, стали мечтать, на что нам их употребить. Люси, та хочет непременно завести свое дело. Честное слово, она почти что уломала меня заняться покупкой дома, чтобы можно было открыть ресторан. Но мало ей этих забот, она еще собиралась на верхнем этаже устроить парикмахерский салон. Да-а, у нас уже все было продумано...

Она покачала головой.

— И за все это время вы так и не заглянули в мешок? — недоуменно произнес Портвуд.

— Ни разу.

— Надо же!

— Вы проявили поразительную силу воли,— сказала миссис Гарфилд.

— Да-а,— согласилась Мэри.— Но потом один раз, когда Люси ушла к зубному врачу, я почувствовала, что больше не выдержу. Не идет из головы мешок, и все тут. Развернула газеты, стала просматривать объявления, а сама думаю: вот нам и то бы купить, и это. Выглянула в окно — вижу там машины. Решила Библию почитать — и надо же такому случиться, что она у меня как раз открывается на том месте, где про сокровища на небе и про хлеб по водам. Карусель, да и только! Должна я взглянуть хоть одним глазком. Ну, задернула я все шторы на окнах, пустила воду в ванну, будто мыться хочу, все краны в квартире открыла, а потом забралась на стульчак с ножницами в руке, вынула мешок и стою смотрю на него. А он холодный-прехолодный! Вытащила я его, такой холодный, и вода с него ручьем бежит, будто худое ведро достала из глубокого колодца. И весь — слышите ли? — позеленел от сырости. Нет, не могла я больше утерпеть! Выше моих сил. Тяпнула ножницами, вырезала прореху. И смотрю. Долго-долго смотрю. А потом, скажу я вам, мои милые, насмотревшись, чувствую, что от волнения не могу на ногах больше стоять, пошла и легла в постель. Нервы не выдержали...

— Да, да, мисс Мэри, такое переживание!

— Вы даже и не представляете себе, сестрица. Даже и не представляете. Говорю вам, мне пришлось лечь в постель!

— А что? С такими деньгами могли себе позволить понежиться,— сказал Портвуд.

— Да погодите вы, дайте дорассказать. Ну, лежу я, крихчу да охаю, и тут приходит Люси, в самом, я вижу, разговорчивом настроении. Я сразу поняла, что сейчас она заговорит про мешок, а мне страшно ей признаться, что я без нее в

него заглянула. Я говорю: «Детка, я неважно себя чувствую. Давай мы с тобой потом поговорим...» Думаете, может, это ее остановило? Как бы не так. Она только откупорила мне бутылку холодного пива, которое по дороге купила, и замолочила языком что трещотка. И как я предчувствовала, так и оказалось: договорилась она и до нашего мешка. Что нам купить в первую очередь, желательно ей обсудить. Бедное дитя, уж если ей что втемяшится... Ну, я хлебнула как следует пива и лежу, словно бы задумалась.

— Вы с вашей дочкой были как настоящие подружки,— заметила миссис Гарфилд.— Рядом с молодыми живешь гораздо более интересной, наполненной жизнью. В особенности со своими родными детьми. Ах, если бы у нас с мистером Гарфилдом...

— Миссис Гарфилд, дайте уж ей доврять до конца,— попросил Портвуд.— А тогда потолкуем о вас с мистером Гарфилдом.

— Да, да, конечно,— согласилась миссис Гарфилд.— Вы уж меня простите, мисс Мэри, что ненароком вас перебила.

— Не слушайте вы этого старого дурня, миссис Гарфилд. Да будь сейчас со мной моя Люси, совсем другая жизнь была бы!

— Вы о чем врать взялись, я вас спрашиваю,— возмутился Портвуд,— о деньгах или о детях? Всерьез, что ли, будем разговаривать? Я лично желаю знать, что вы тогда сказали своей Люси? Что решили купить перво-наперво?

— Если бы вы не затеяли пререкаться с миссис Гарфилд, сейчас бы уже все узнали,— сказала Мэри.— Так вот, полежала я немного, подумала и говорю ей: «Ну, детка, если хочешь знать правду, мое мнение такое, что нам надо перво-наперво купить автомобиль». Она прямо оторопела. «Машину? — говорит.— Как же так, мамаша, я и не знала, неужто вы хотите быть вроде тех необразованных негров, которые покупают машины, а у самих ничего нет и некуда даже ее поставить? Я на вас удивляюсь, мамаша,— говорит,— вот уж никак не думала, что вы захотите первым делом обязательно приобрести машину».

Так меня расчехвостила, куда там. И смотрит с укоризной, будто подглядела ненароком, как я целуюсь с проповедником, или там мороженщиком, или еще с кем.

«Надо быть практичными,— говорит она мне.— Нельзя швыряться деньгами».

Ну что ты тут будешь делать?

«Люси, солнышко,— говорю,— вот я как раз и стараюсь быть практичной. Потому твоя мама и предлагает: давай купим автомобиль».

А она:

«Но, мама, автомобиль — это вовсе не практично!»

«Очень даже практично,— отвечаю.— А иначе как нам употребить два комплекта автомобильных цепей?»

— И знаете,— недоуменным тоном заключила Мэри, подавшись вперед и ударяя щепотью по колену,— ведь я едва успела выскочить из постели и подхватить мою девочку: бедняжка покачнулась — и в обморок!

— Да-а,— Портвуд откинулся на спинку стула и захохотал.— Меня бы тоже сейчас кто подхватил, а то упаду!

Миссис Гарфилд рассмеялась звонко, как молоденькая:

— Ой, мисс Мэри! Вы же все это выдумали!

Мэри ответила со вздохом:

— Если бы так, девонька, если бы так...

— Надо же! Автомобильные цепи! — восхищенно повторил Портвуд.— Столько греха на душу ради каких-то несчастных цепей для автомобильных колес.

— Умник нашелся,— сказала Мэри.— Теперь убедились, что не выдввали настоящих простофиль? Взять вот меня, ведь я поверила, что мне счастье прямо в руки свалилось. Ну ладно,— она беззвучно посмеялась над легковерием рода человеческого.— Допьем лучше вино.

Портвуд подмигнул миссис Гарфилд.

— А вот вы скажите нам, мамочка...— начал было он.

— Опять, что ли, я должна вам напоминать, что я вас не рожала?

— Я только хотел узнать одну, последнюю вещь.

Мэри на него опасно покосилась:

— Ну что еще? Некогда мне больше сейчас этими глупостями заниматься, надо пойти наверх и прибраться у ребят.

— Да бог с ними, с молодежью,— сказал Портвуд.— Вы вот скажите нам, вам никогда не снились счастливые сны? Мэри ухмыльнулась.

— А о чем же я вам толкую? — ответила она.— Снились мне счастливые сны, а просыпаюсь — холод в ладони. Но все равно,— задумчиво сказала Мэри,— все равно я верю, что наши ребятки выиграют автомобиль.

— Да, да,— кивнула миссис Гарфилд.— И разве это не утешение, мисс Мэри? Ну, то есть когда знаешь, что это вполне может быть...

И Мэри согласилась, что так оно, конечно, и есть.

Парочка краснокожих, с которых сняли скальп

Вдали звенел оркестр, и, пробираясь через лес, я слышал звуки труб, поднимавшиеся к небу и лопавшиеся, как сверкающие металлические пузыри. Далеко-далеко в предвечерней тиши ноты искрами сыпались у подножья холма, все яснее и четче слышалась музыка — звучал духовой оркестр. Я успокоился. Я все вслушивался, пока мы шли по лесу, но от боли слух обманчиво обострился, и мне чудилось, что это просто в ушах у меня звенит. Теперь-то я был уверен на все сто, потому что Бастер остановился, голову склонил набок и, щурясь, посмотрел на меня. На голове у Бастера синяя повязка, за ухом — индюшачье перо, и перо это под ветром чуть колышется.

— Слышишь, приятель? — спросил Бастер.

— Я уже давно услышал,— ответил я.

— Черт возьми, чего же ты молчал? Пошли-ка отсюда в темпе, поглядим что да как.

Мы прибавили шагу. И вышли мы на опушку, как раз там, где начинается тропа вниз к городу. Посмотрели. Заходило

солнце, и видно было, как красная от глины тропа, прорезав лес и миновав белое, сожженное молнией дерево, выходит к дороге над рекой, а дорога огибает домишко тетки Мекки, а еще дальше, за домишком по ту сторону дороги, течет таинственная и едва различимая река. Тут оркестр, хоть и было до него еще далеко, зазвенел так, словно кто подбросил к небу полную пригоршню новеньких серебряных монеток. Я вслушался и посмотрел на реку, что вилась меж деревьев, а потом — меж домов, и тут взгляд мой уперся в похожее на белое облако шапито с разноцветными трепещущими флажками, парившее там, на окраине, за высокой трубой и огромным серебристым шаром газохранилища.

Тут мы побежали. Мы бежали неспешной индейской рысцой, потому что за плечами у нас были рюкзаки, а устали мы еще на Индейском Озере, где устроили себе испытания. Но от рева труб позабыли мы и боль, и усталость и припустили в густеющих сумерках по тропе, как козлята, и фляги и котелки армейского образца били нас по бокам.

— Опаздываем, парень,— сказал Бастер.— Говорил я тебе — двигать пора, а то опоздаем. Так нет же, понесло тебя жарить этого чертова кулика, с болотной тиной пополам — все слово в слово, как в книжке. За столько времени слона можно зажарить...

Он ворчал и ворчал, как тромбон, если вставить в него здоровую такую, вроде горшка, заглушку, а я все бежал и хоть бы словечко в ответ. Мы, когда устраивали кулинарное испытание, вместо курицы решили кулика изжарить, потому что Бастер сказал, индейцы, дескать, курятины не жрут. Пока вспугнули мы этого кулика, пока прикончили из рогатки, время и ушло. Да еще Бастер захотел, чтоб мы разом прошли все испытания — и кулинарное, и по плаванию, и марш-бросок. Ну вот время и потеряли. Я так и знал, что не уложимся, у нас ведь даже старшего скаута нет. И команды никакой — Бастер только руководство для бойскаутов раздобыл, и нам по первоначальному казалось, что трудней всего — это самим себе испытания придумать. А ворчал Бастер зря: хоть я все испытания и прошел,

но он-то первое место занял. Между прочим, он сам велел все это сегодня устроить: мы же оба до сих пор в повязках, и болит здорово, а у меня даже швов пока не сняли. Я хотел еще обождать пару дней, пока не заживет, но этот всезнайка Бастер меня подначил: настоящий индеец, мол, все испытания пройдет, даже если он прямо с операционного стола. Ну вот, и оттого, что мы решили стать не просто скаутами, а скаутами-индейцами, приходится теперь бежать на весенний карнавал, а иначе я бы уже давным-давно там был. Не могу я понять, откуда Бастер знает, что индеец станет делать, а чего нет. Например, насчет того, что с нами доктор сделал, мы точно ничего не читали. Может, Бастер все это из головы выдумал, да еще меня в лес потащил, так что мне пришлось без спросу из дому сбежать. Доктор сказал мисс Джейни — я у нее живу, — что мне на несколько дней положен постельный режим. И следила же она за этим режимом, словно это ей, а не мне операцию делали... Только такой операцией ни одна женщина на свете похвастаться не может.

Короче, смылись мы с Бастером в лес, а вот теперь в быстро наступивших сумерках бежали что есть духу на карнавал. Повязка терла, дыхание сбилось, но вот за поворотом я увидел и шапито, и огни, и толпу народа. Ветер подул в лицо, и потянуло сладкой «ватой», жареными сосисками и керосином зажженных факелов. Мы остановились, чтобы отдышаться, а Бастер встал в позу и руку вперед вытянул, как индейский вождь в кино, когда он, с вершины холма, сзывает своих краснокожих и молится Великому Духу, прежде чем напасть на фургоны колонистов.

— Там внизу... большое племя... большой вигвам, — сказал Бастер на индейский манер. — Я вижу по сигнальным кострам... черноногие*... собрались в большое племя... горят вонючие огни... черноногие пляшут в кедах.

— Угу, — закивал я головой, на которой словно бы вырос индейский убор из перьев. — Угу!

С бесстрастным выражением лица Бастер повел рукой с

* «Черноногие» — название одного из североамериканских индейских племен.

востока на запад: — Пахнет лекарством... большая толпа... большая вонь... громкая музыка!

Он ударил кулаком по ладони и надул щеки, а я поглядел на него и прыснул.

— Вождь сказал большую ложь... лекарством не пахнет,— ответил я.— Бежим вниз.

И мы побежали дальше. Позвякивала фляжка Бастера, а вокруг было тихо-тихо — только птицы шебаршились в ветвях.

— Шуму от тебя, парень, как от десятка мулов в полной упряжи,— сказал я.— Индеец липовый.

— Подумаешь, индейцы,— ответил Бастер.— Мы им сейчас устроим с ихним вонючим собачьим карнавалом!

— С тебя с первого снимут скальп, если будешь шум и гам в лесу поднимать,— возразил я.— Чихать индейцам на карнавал... им это тьфу. Погоди, они с тебя скальп снимут!

— Скальп? — переспросил он, только уже не на индейский лад.— Слушай, парень... чертов доктор с меня уже снял скальп на той неделе. Чуть всю головку не отстриг!

Я так и покатился со смеху.

— Спаси нас, господи, и помилуй,— хохотал я.— Вот так парочка краснокожих! И оба без скальпа!

Посмеялись. Бастер споткнулся и уцепился за ветку. Доктор уверял нас, мы-де станем настоящими мужчинами, а Бастер сказал, что он-то, черт возьми, и так настоящий мужчина, только ему охота стать индейцем. Нам и в голову не пришло, что такую операцию сделать — это все равно что скальп снять.

— Верно, парень,— кивнул Бастер.— Содрал доктор с моей головки кожу, и стал я прямо псих ненормальный. Я потому и бегу туда, что там все как один — своя компания, психи. Начнется катавасия, и я — вот он, тут как тут.

— Не опоздай, о вождь Лысая Головушка! — сказал я.

Бастер глянул на меня:

— Ты как думаешь, что доктор с нашими скальпами сделал?

— Суп сварил.

— Ты что, чокнулся? — спросил Бастер.— Он на наши скальпы рыбку ловит.

— Точно. Пусть мне штраф заплатит,— сказал я.— Миллиард миллиардов новенькими бумажками.

— Может, он наши скальпы отдал тетке Мекки? Она из них такого приворотного зелья наварит...

— Слушай, приятель,— сказал я, и меня всего передернуло,— не вспоминай ты про эту старуху, она колдунья.

— Черт, да ее все боятся! Попадется она мне или моему папаше — мы с ней разделаемся.

Я промолчал, мне было страшно. Казалось бы, знаю эту старуху всю жизнь, а все-таки она для меня, как луна — и знакомая, и загадочная, и даже имя ее несет с собою страх.

Хо, Тетка Мекки, знахарка и ведунья, ты живешь одна у реки, в лачуге, средь зарослей плюща, подсолнуха и причудливых волшебных трав. (Яо! — как говорит Бастер, когда мы играем в индейцев. Яо!) Старуха Мекки, лицо твое в морщинах, ты ходишь с клюкой, и колдуешь по ночам, и глядишь круглым злобным глазом, и кликушествуешь, и трясешься от ярости; Тетка Мекки, ты голосишь на перекрестках, и не даешь проходу детям, и нюхаешь табак, и знаешь, что случится; и носишь мужские башмаки и старый клетчатый фартук, и голову повязываешь засаленным платком; Тетка Мекки, нет у тебя ни братьев, ни сестер, но нам всем ты просто Тетка Мекки (Хо, яо!); ты предсказываешь судьбу, и от твоих заговоров человека корезат судороги (Яо, яо!); Тетка Мекки, ты таишься, но ты среди нас; по ночам в твоей лачуге фермеры толкуют о скоте и об урожае (Яо!); ты лечишь травами и пользуешь корешками, и от твоих предсказаний теряют разум золотоискатели... (Я-хоооо!) Имя ее означало все это, и, услышав его, я задрожал. Нет, эта болтовня не по мне — пусть о Тетке Мекки Бастер болтает, коли не трусит.

Даже взрослые — черные и белые, — бывает, боятся тетку Мекки, а о ребятах и говорить нечего, кроме, конечно, Бастера. Бастер, он с окраины, и ему чихать и на тетку Мекки, и на школьного инспектора, и вообще на всех, кого мы как

огня боимся. Но нас-то с Бастером водой не разольешь — вот мне и стало стыдно, что я трушу.

Когда Бастер рядом, меня ничем не испугаешь. Вот как два года назад: отправились мы в лес и ничего с собой не взяли — только рогатки, кусок сала да котелок, и три дня в лесу прожили, ловили кроликов, собирали ягоды и таскали с поля колоски. Завернемся на ночь в одеяла, и начнет Бастер рассказывать, как мы вырастем да какой чуждой жизнью заживем и как махнем из города, от родного дома подальше. Родного дома, правда, у меня нет — одна мисс Джейни, она взяла меня к себе, когда мама умерла, а отца я не знаю, так что меня давно тянуло из города, и будущее, про которое рассказывал Бастер, виделось мне по ночам в самом розовом свете. И хотя слышно было, как неподалеку ломится через лес медведь, и из темноты раздавался жуткий вой койота, и пронеслась у нас над головами с легким шорохом сова, Бастера это не трогало, а его отвага и меня превращала в смельчака.

Но к тетке Мекки я относился как-то иначе — с почтением и страхом.

— Слышишь, трубят? — сказал Бастер, и из-за деревьев словно вылетела россыпь разноцветной, играющей на солнце гальки.

Мы побежали дальше. И теперь, на бегу, я почувствовал: хорошо! Охота мне попасть туда, на карнавал. Охота покрутиться в мешанине потных смеющихся лиц, поглазеть на всякие чудеса.

— Ты, парень, только послушай,— сказал Бастер.— Ну и отчебучивают эти трубы! Ну-ка нажмем на газ!

Мы бежали — аж все перед глазами мелькало. И вдруг перед нами выросло, медленно вращаясь во тьме, чертово колесо, и красные и синие огни играли на нем, как капли росы на паутине ранним утром. И мы услышали, как через зазывный рев оркестра прорываются мелкой дробью крики балаганных зазывал.

— Слышишь тромбон, старина? — спросил я.

— Ага. Он вроде как всех подряд по матушке костерит.

— Это как же, Бастер?

— А так. «Ваши,— говорит,— мамыши их сроду не нашивали. Ваши,— говорит,— мамыши о них и не слыживали. Вашим мамышам их носить запрещается...»

— Чего носить?

— Подштанники, дурень. Они, мол, без подштанников ходят.

— А ты почем знаешь?

— А тромбон-то, по-твоему, о чем говорит?

— Это точно. Только вот с тебя скальп сняли, не забыл? Выходит, ты псих. Ну откуда тромбону знать насчет чужих мамыш?

— Видал, говорит, собственными глазами.

— Ну? Небось подглядывал! А другие трубы что же, молчат?

— Нет, вот, например, туба бормочет:

*Вы не ругайте чужую мамашу,
Вы не пугайте мамочку вашу,
Без матерщины прошу обойтись...*

— Сняли с тебя скальп, приятель, ты и сбрендил. А как насчет горна?

— Горн — солдат. Он попусту слов не тратит:

*Значит, материться вы не стали, хей?
Значит, материться перестали, хей?
Только выучил такие я словечки,
Что мамыши затрясутся, как овечки!*

— Думаешь, белые не разберут, что этот горн болтает? Да они его за эту ругань со свету сживут.

— А почему ты его солдатом назвал? — спросил я.

— Потому что он белых почем зря кроет да задирается. Ихних мамыш поминает и сам в драку лезет. Другое дело — кларнет, кларнет — он мягко стелет, так что и не заметишь, как он по матушке пройдетя.

— Слушай, Бастер,— сказал я, на этот раз уже серьезно.— Если мы вправду скауты, сквернословить нам нельзя.

У белых скаутов ругаться запрещено.

— Верно, черт возьми. Запрещено,— ответил он, и индюшачье перо задрожало у него над ухом.— У них этого душа не принимает. Так что же, нам от них ни на шаг? Я вот буду скаутом, а ругаться не брошу. С белыми этими иначе пропадешь. Прицепятся к тебе, а ты и не знаешь, что ответить. Так ни минуты покоя не будет. Придется либо языком трепать, либо деру давать, либо кулаками махать, а мне эти дела не по вкусу. Ну их, белых этих.

Темнота густела, и мы шли и шли. Зажглись первые звезды, а потом, откуда ни возьмись, вынырнул месяц. Его серп, как нож, прорезал паутину облаков, и тут я испуганно оглянулся на новый звук. По левую руку от нас залаял пес, большой пес. Замедлив шаг, я разглядел силуэт частокола и ломаные тени, затаившиеся во дворе тетки Мекки.

— Ты чего, приятель? — спросил Бастер.

— Слыхал? — сказал я.— Это пес тетки Мекки. Шел я тут в прошлом году и думать о нем не думал, а он просунул морду через забор да как тяпнул...

— Тсс, парень,— зашептал Бастер.— Вот он, гад такой, там спит. Я сейчас с ним сам поговорю.

Мы медленно продвигались вперед, а пес все брехал во тьме. Потом мы поравнялись с ним, и он всем телом кинулся на забор, грохоча цепью. Бастер положил мне руку на плечо. Мы остановились. Я расстегнул мой тяжелый ремень, но в руках он почему-то показался легким. В правой руке у меня был топорик, который я брал с собой в лес.

— Лучше вернемся и обойдем,— шепнул я.

— Спокойно,— ответил Бастер.

С хриплым лаем пес снова бросился на забор, планки затрещали. Потом треск снова перекрыла далекая музыка.

— Давай обойдем,— повторил я.

— Ну уж нет! Пойдем, как шли. Тетка Мекки там или кто другой, я от ихних собак бегать не стану. Идем!

Дрожа, я пошел за ним туда, где бесновался пес, потом Бастер остановился, и я услышал, как он скинул рюкзак и вытащил какой-то сверток.

— На,— сказал он.— Держи мое барахло и топай дальше.

Я подхватил его рюкзак и пошел за Бастером, а голос у него вдруг начал прерываться — со страху и от злости, и он все бормотал:

— Лопай, убудок вонючий, жри нашего кулика.

А я зацепился за ляпку его рюкзака и упал. И пока я там копошился, пес урчал и перемалывал что-то челюстями.

— Жри, поганец,— повторял Бастер.— Уплетай.

Я встал, опять споткнулся в темноте и повалил старую кухонную плиту, стоявшую у забора. Забор повалился, а я, ничего не разбирая со страху, вполз во двор. Пес снова начал лаять и все рвался ко мне, но то и дело возвращался к недоеденному кулику: прыгнет на меня, натянув цепь до отказа, а потом мигом назад и снова остервенело впивается в растерзанную птицу. Я отполз в сторону, наткнулся на плиту и обломки штакетника, на огромные стебли подсолнухов, потом пополз назад к Бастеру и тут увидел прямо перед собой освещенное окно и понял, что это я уже у самой лачуги. Тут, цепляясь за тонюсенькую стену домика, я поднялся на ноги. И в окне при свете лампы увидел женщину.

Нагую темнокожую женщину с черными распущенными волосами. Она медленно изгибалась — словно в танце, и я видел длинную изящную линию ее спины. Ее руки прижимали к телу что-то, чего мне не было видно, прижимали ласково и нежно. Юное, девичье тело медленно раскачивало легкими округлыми бедрами. «Кто же это?» — только и успел я подумать, а сзади, из тьмы закричал Бастер: «Эй, парень, ты где? Сбежал, что ли?» И я уже было повернулся, чтобы бежать к Бастеру, но в это мгновение она взяла с шаткого круглого стола, крашенного белой краской, стакан и поднесла его к губам, запрокинув голову и медленно поворачиваясь, поворачиваясь медленно в свете лампы и медленно цедя вино, она поворачивалась медленно-медленно и вот повернулась, и я увидел все ее жаркое женское естество.

И я застыл и глядел, как тяжело покачиваются ее груди, по которым двумя неотличимыми друг от друга ручейками

побежало вино, увлекаемое вниз легким ее дыханием. Потом стакан опустился, и ноги у меня подкосились. Я зажмурился, но она осталась как была, а я едва сдержался, чтобы не захохотать и не закричать. Потому что над гладкими девичьими плечами я увидел морщинистое лицо старой тетки Мекки.

Раньше я не видал голых женщин — только совсем маленьких девчушек да еще раз-другой девчонок-ровесниц, но они костлявые, все одно что мальчишки, только у них ничего нету там, где у нас есть. Видел, конечно, всякие картинки, но они же не живые, и тех, кто на них нарисован, ты не знаешь и на улице с ними не встретишься. А тут одно другому наперекор — лицо в морщинах и жаркое тело. И не в том штука, что подглядывать стыдно. Я узнал тайну тетки Мекки — вот отчего мне стало жутко. Но я будто к земле прирос. Стоял как заколдованный, слышал, как пес голосит, и чувствовал, что под повязкой стало тепло и заныло, и боялся, что это из-за старухи там ноет, и все думал, какая она молодая под этими лохмотьями.

Не замечая меня, она вновь начала приплясывать, и свет от лампы скользил по ее телу, а она все покачивалась и прижимала к себе то ли пустоту, то ли невидимых духов, то ли еще чего. И при каждом движении ее волосы, черные как ночь и прежде упрятанные под засаленный платок, тяжело раскачивались у нее за плечами. А если, склоняясь набок, она поднимала руки, я видел, как колеблется ее нежная грудь. «Не может этого быть, не может», — думал я, а сам все ближе подходил к окну, потому что хотел увидеть и понять. Но я забыл, что держу в руке топорик, и когда задел им о стену, она, приплясывая, стремглав обернулась к окну, и лицо ее было разгневано. Я стоял столбом и только слышал, как рычит пес, уминая кулика, и знал, что пора драпать, а она подошла к окну, и перед нею летела ее тень, и волосы ее развевались, как клубок гадюк на коряге, плывущей по реке во время весеннего половодья. Потом я услышал хриплый голос Бастера: «Эй, парень, ты куда провалился?» А она указала на меня пальцем и вскрикнула — я отпрянул, и

лунный серп пронесся надо мной как молния, и я упал, не выпуская из рук топорика, и обо что-то стукнулся головой в темноте.

Когда я пришел в себя, кто-то был рядом: я открыл глаза и увидел свет и ее лицо надо мной. И тут нахлынуло все, что я видел, и снова я вспомнил ее ловкое тело, ее лицо в морщинах и почувствовал вдруг сладкую, отдающую болью дрожь. Крепко держа меня, она что-то забормотала, и я ощутил ее дыхание, чуть отдававшее вином.

— Ах ты чертенок! У кого губы в вине, тот не нужен мне. Вот как я ему сказала, ясно? Тот не нужен мне,— громко повторила она.— Ясно тебе?

— Да, мэм...

— Не нужен, не нужен, НЕ НУЖЕН!

— Да, мэм,— сказал я, а она впилась в меня прищуренными глазами.

— Молод еще, но молодые, они понимают, чертенята. Тебе чего нужно у меня во дворе?

— Я заблудился,— ответил я.— Я из лесу шел, со скаутских испытаний. Ваш пес меня не пускал.

— Вот оно что,— сказала она.— Укусил он тебя?

— Нет, мэм.

— Ну, еще бы. Он не кусается в новолунье. Э, нет, ты сюда явился подглядывать.

— Честное слово, нет,— ответил я.— Я просто не знал, как отсюда выбраться, и пошел на свет.

— А топор откуда? — спросила она, заметив топорик.— На что он тебе?

— С такими все скауты ходят,— объяснил я.— Чтобы сквозь чашу прорубаться...

Она посмотрела на меня с недоверием.

— Ага,— сказала она.— Ты, выходит, мужчина серьезный, с топором ходишь, за женщинами подглядываешь. Но вот в чем вопрос — пьешь ты или не пьешь? У тебя губы в вине?

— В вине? Что вы, мэм!

— Не пьешь, значит. А в церковь ходишь?

— Хожу, мэ.м.

— Душу спасаешь?

— Да, мэ.м.

— Ну,— сказала она и вытянула губы трубочкой,— коли так, целуй.

— ЧТО?!

— То, что слышал. Ты прошел все испытания, ты за мной в окошко подглядывал...

Она, не давая мне подняться, обняла меня, словно трехлетнего малыша, и улыбнулась девчоночьей улыбкой. Я видел, как блестят ее ровные белые зубы, видел длинные волоски у нее на подбородке, и все это было как кошмарный сон.

— Ты за мной подглядывал,— сказала она,— а теперь на попятный? Целуй, говорю, а не то я тебе задам...

Ее лицо склонилось надо мной, я ощутил ее горячее дыхание, зажмурился и постарался ни о чем таком не думать. «Это все равно как в церкви расцеловаться с какой-нибудь старушенцией, подружкой мисс Джейни»,— повторял я про себя. Но толку от этого было чуть. Я почувствовал, как она обняла меня, и губами нашел ее губы — сухие, твердые, пахнущие вином. Она вздохнула и сказала: «Еще», и наши губы встретились снова. Внезапно она притянула меня к себе, на меня легла ее мягкая грудь, и снова она вздохнула.

— Славный мой мальчик,— ласково произнесла она, и я открыл глаза.— На первый раз хватит. Ты чересчур мал и чересчур стар, но совсем не трус. Настоящий шоколадный герой.

Она шевельнулась, и только тут я понял, что моя рука лежит на ее груди. Я виновато выпростал руку и покраснел. Она встала.

— Ты славный, храбрый мальчик,— сказала она, глядя мне прямо в глаза,— но лучше тебе забыть сегодняшнее.

Я сел, а она все смотрела на меня и загадочно улыбалась. Теперь ее тело, освещенное тусклым желтым светом, было совсем близко, и я увидел, что удивительные шелковистые, вороные пряди кое-где переплетаются с седыми, и вдруг я заплакал и мне стало противно мое жгучее желание. Сквозь

слезы я смотрел на топорик, лежащий на полу, и не понимал, как это она донесла меня до лачуги.

— Что с тобой? — спросила она, но я не знал, как ответить.— Что с тобой, спрашиваю!

— У меня болит там, где доктор резал,— в отчаянии ответил я, чувствуя, что не знаю я таких слов, чтобы объяснить, отчего я плачу.

— Где резал?

Я отвернулся.

— Где болит, мальчик? — спросила она.

Я посмотрел ей в глаза, и ее взгляд вроде как прошел сквозь меня, и тогда я помялся и показал, где болит.

— Дай-ка я посмотрю,— сказала она.— Я ведь как-никак знахарка.

Я потупился и не знал, что делать.

— Ну же! Давай посмотрю. Я через одежду ничего не увижу.

Лицо мое горело, и, оттого что повязка намокла, боль стихла. Но я не стал спорить, разделся и увидел, что кровь прошла через бинт. Я лежал отвернувшись — так было стыдно.

— Гм,— пробормотала она.— У бедного червячка головка болит!

Я ушам своим не поверил. А она заглянула мне в глаза и усмехнулась.

— Обрезали,— по-старушечьи захихикала она.— Обрезали. Обрезали тебя, мальчуган, как кустик. Людей-то я пользую, но кустиков не сажаю... Лежи, лежи тихо.

Она замолчала и дотронулась до меня рукой — три похожих на когти пальца пошевелили повязку.

А мне было стыдно, я разозлился и поглядел на нее возмущенно и дерзко. «Я мужчина,— повторял я про себя.— Все равно я мужчина!» Но я сразу отвел глаза под ее горящим взглядом. Потом через силу снова посмотрел на нее: теперь, при свете лампы, тело ее стало совсем коричневым, и мне хорошо, до каждой жилки был виден его сложный механизм, все его гибкие округлости. И я еще глубже ощу-

тил его тайну, ибо теперь нагота казалась всего лишь еще одним покровом — таким же, как ее бесформенные лохмотья. Потом я разглядел у нее на животе длинный и сморщенный кривой рубец.

— Сколько тебе лет, мальчик? — спросила она, и глаза ее вдруг округлились.

— Одиннадцать,— ответил я, и прозвучало это как гром среди ясного неба.

— Одиннадцать?! Вон отсюда! — взвизгнула она и отшатнулась, глядя на меня расширившимися глазами и шаря по столу в поисках стакана.

Потом она подхватила лежавшее на стуле старое серое платье и кинулась искать поясок, хотя его там вовсе не было. Я встал и, не сводя с нее глаз, нагнулся за топориком, и снова мне стало больно. Потом я выпрямился и натянул штаны.

— Пошел отсюда, гаденыш,— сказала она.— Вон отсюда, по-быстрому. А будешь трепаться, я твоему папаше такое устрою... И мамаше тоже. Вот посмотришь...

— Да, мэм,— кивнул я и тут почувствовал, что сгнуло все мое мужество, потому что повязки моей больше не видеть, а ее тайна, ее тело спряталось под старым серым платьем. Но что она моему папаше сделает, если папаши у меня нет? И мамаше что сделает, если мамаша умерла?

Я попятился и вышел на темный двор. Она захлопнула дверь, и свет в окне стал ярче, и в окне я увидел ее лицо, и не понять было, хмурится она или смеется, но при свете лампы ни морщинки не осталось у нее на лице. Я наткнулся на рюкзак и поднял его.

На сей раз пес только привстал, сверкнул зеленым глазом и лениво заворчал. «Разобрался с тобой Бастер,— подумал я.— Только где же он теперь?» И вышел я со двора на дорогу.

Бежать я не стал, чтобы снова не разболелось, и по пути все вспоминал, как стояла она спиной ко мне и покачивалась легко и непьяно. Она вроде бы и плясала, и молилась — только на колени не стала. Потом она обернулась, и я узнал ее знакомое лицо. Я пошел быстрее, и вдруг все во мне ожи-

ло и запело. Я услышал песнь ночной птицы, и долетел до меня светлый зов перепела. Справа, в реке, плеснула разгулявшаяся в лунном свете рыба, взлетели и упали брызги. Пахло глицинией и луноцветом. Тут в темноте я вспомнил теплый и загадочный запах ее тела, и вдруг до меня донесся шум карнавала, и все, что случилось, показалось мне дымкой и сном. Воспоминания пролетали передо мной, блекли, дробились на куски. Но боль как была, так и осталась, и я остался, как был, и бежал во тьме туда, где звенел оркестр. Уж оркестр-то был на самом деле, в этом я был уверен, и я остановился, обернулся и поглядел на черные очертания лачуги и на узкую полоску месяца над ней. За лачугой поднимался холм, а за ним — я знал, — как и прежде, прячется озеро, а в нем плавает луна. И все это — на самом деле.

И на миг мне показалось, что я много старше, словно мгновенно прожил много-много лет и так же мгновенно воротился назад. Я хотел вспомнить, как целовался с ней, но на губах ощутил лишь чуть слышный привкус вина. А больше ничего не осталось, все ушло — и, наверно, навсегда, и помнил я только волоски на ее подбородке. Но тут снова раздался нетерпеливый оклик труб, и я заторопился. Куда девался второй краснокожий, с которого сняли скальп? Где же Бастер?

Крышу поднимешь — увидишь людей

Блисс, сказал папа Хикман, ты все время просишь, чтобы я сводил тебя туда, хотя я все время говорю тебе, что людям будет неприятно видеть проповедников в месте, которое они считают логовом дьявола. Хорошо, я свожу тебя, чтобы ты сам это увидел, и ты увидишь, что там всё, как везде, — полно грешников и немного верующих, немного хороших людей и полным-полно средненьких и плохих. Да, и кроме удовольствия сидеть там и глядеть на удивительные происшествия в темноте, ты обнаружишь там те же старые обма-

ны и западни, какие мы каждый день должны обходить тут, при ярком солнечном свете. Потому что, понимаешь ли, Блосс, дело не столько в том, где ты *сидишь*, как в том, что ты *видишь*...

Да, сэръ, сказал я.

Нет. Не спеши согласиться, Блосс, погоди, пока ты пойдешь. Старик Лука говорит: «Светильник тела есть око», поэтому тебе надо остерегаться, чтобы свет, который твой глаз пропускает в тебя, не был светом тьмы. Иначе говоря, ты всегда должен быть уверен, что если ты на что-то *смотришь*, ты это *видишь*.

Не сводя с него глаз, я кивнул. Я видел, как он, говоря со мной, обдумывает Писание.

Мальчик, сказал он, несомненно, тебе много раз придется в своей проповеди извлекать добро из зла. Да, и надежду из безнадежности. Бог создал мир и отпустил его на волю, и когда он плох, нам необходимо помнить, что в господень замысел входит искупить его усилиями немногих хороших мужчин и женщин. Пошли же, мы спустимся туда сами и хорошенько посмотрим. И мы пойдем туда, как на праздник, с попкорном и земляными орешками, с крекерами и леденцами. И быть может, ты лучше поймешь, против чего тебе предстоит бороться, ибо я не верю, что ты сможешь увлечь за собой людей, не зная по своему опыту всех искушений. Христу надо было облечься в плоть, ты меня понял?

Да, сэръ.

Нет, погоди-ка, Блосс...

Он взгляделся в самую мою глубь, и я почувствовал трепет.

Сэръ? — спросил я.

Он размышлял, и в глазах его появлялась грусть.

Только не подумай, Блосс, сказал он, что это станет нашим обыкновением. Я знаю, что тебе понравится сидеть и глядеть в темноте, несмотря на то что спускаться туда надо по грязным, записанным ступенькам. Тебе, должно быть, почти так же понравится глядеть на картины, как в былые дни мне нравилось стоять посреди оркестра и играть музыку для увеселения народа. Да, тебе понравится глядеть на кар-

тины; наверно, у тебя глаза полезут на лоб от восторга; но я тут же прямо тебе говорю, что это одно из тех развлечений, на какие мы, проповедники, не должны ходить, как прочие люди. И я, маленький проповедник, объясню тебе почему: если ты будешь много глазеть на эти картины, ты посеешь в других людях семя сомнения. Картины стали показывать совсем недавно, но я вижу, как это семя дает ростки. Потому что люди уже спознались с тенями на стене, с людьми, которые не более чем дым, исходящий из ада, или дымок, поднимающийся из бутылки. Поэтому они теряют связь с теми, с кем они обязаны быть, Блосс. Они забывают, кем учит их быть Библия — то есть образом и подобием господа. Задача проповедника, Блосс, его главная задача — помочь людям обрести себя и непрестанно напоминать им, кто они. Так что, видишь, эти картины могут нам помешать. Если люди будут слишком часто глядеть их, все они спознаются с таким множеством теней, что совсем собьются с пути. Я хочу сказать, они забудут, кто они на самом деле. Так что, понимаешь, если мы будем постоянно ходить на картины, люди подумают, что мы сами посещаем дьявола и уклоняемся от того, что проповедуем. Блосс, мы должны подавать им пример, поэтому мы идем туда в первый и последний раз...

И не тарашь на меня глаза — каждый раз, когда проповедник что-то себе позволяет, ему приходится поступиться чем-то другим. Однако, Блосс, в этом есть свое благо, ибо довольно скоро он станет хозяином самому себе. *Самообладание* — вот как это называется. Да, да, ты учишься обуздывать себя, и ты живешь так, чтобы чувствовать суть вещей, и ты учишься в горьком распознавать сладкое, и ты живешь полной и честной жизнью. Человек, Блосс, живет не только одну жизнь, он проживает больше жизней, чем кошка, — только он не хочет об этом помнить, потому что горечи в них девятью девять раз и она смешана с той сладостью, которую он хотел бы иметь все время. Поэтому он забывает.

И ты, папа Хикман? — спросил я. И ты прожил не одну жизнь?

Он снисходительно улынулся.

И я, Блосс, ответил он. И я тоже.

Но как? Как это у них по девять жизней, а они ничего не знают?

Они забывают и блуждают во тьме, Блосс. Но хватит об этом. Пойдем взглянем на эти тени. Быть может, господь с их помощью хочет показать нам некоторые стороны старого добра-зла. Я знаю, Блосс, ты этого не понимаешь, но когда-нибудь ты поймешь, мальчик, ты все поймешь...

Ах, к тому времени Боди мне обо всем уже рассказал.

Мы сидели на приступочке и щелкали земляные орешки, арахис, как называл их дьякон Уилхайд. Скорлупа устила-ла землю. Мы были босые — папа Хикман в тот день мне позволил — и в комбинезонах. Стая воробьев сидела на обрывках проводов, валявшихся поперек дороги; время от времени воробьи вспархивали, оставляя за собой крохотные облачка пыли. Боди жевал и громко мычал. Кроме как в церкви, мы всегда были вместе, он был моей правой рукой. Боди сказал:

Блосс, ты видел эту штуку, о которой все говорят?

Кто? — спросил я.

Все ребята. Ты ее видел?

Что видел, Боди? Почему ты всегда начинаешь проповедь, не прочитав текста?

Проповедник ты, а не я. По-моему, проповедник должен *знать*, о чем говорят люди.

Я в упор посмотрел на него, и он чуть-чуть ухмыльнулся, хотя хотел казаться серьезным.

Ты должен знать, откуда идут слова, прежде чем кто-то начнет говорить. Проповедники вроде бы должны видеть видения и все такое, ведь так?

Ну-ну, не вздумай шутить над трудами во имя господне, предупредил его я. Как говорит папа Хикман, каждому пред-стоит умереть и сполна заплатить по счету. Что я должен был видеть?

Эту штуку, которой балуется Сэмми Лидерман. Она дела-ет картинки.

Нет, не видел. Это что, «кодак»? «Кодак» я как-то видел. У папы Хикмана есть большой. Вроде коробки с маленькими перламутровыми окошечками и одним большим, круглым, как глаз.

Он покачал головой. Я отложил орешки и составил пальцы домиком. Я сказал:

Вот тебе крыша,

Вот шпиль над ней;

Крышу поднимешь —

Увидишь людей.

У этого шпиля грязь под ногтями — почему ты не моешь руки? — Боди хихикнул. Ты решил, что я маленький? У людей полно «кодаков», тут что-то особенное.

Что же это?

Точно не знаю, сказал он. Я только слышал, парни болтали об этом в нашей пивной. Но они были белые, и мне не хотелось спрашивать. Лучше ничего не знать, чем спрашивать у белых.

Почему ты не спросил Сэмми, он ведь не белый.

Не, он еврей, но на вид он белый и иногда держит себя как белый. Особенно когда он с белыми парнями.

Со мной он всегда разговаривает, сказал я, он зовет меня *ребе*.

Замешательство, словно облачко, затуманило глаза Боди. Он нахмурился. Он был моей правой рукой, и я чувствовал его замешательство.

Ты тоже похож на белого, отец. Почему ты позволяешь ему называть себя «ребенок»?

Я поглядел в сторону на пылящих птиц.

Боди, ты что, оглох? Я сказал, он зовет меня *ребе*.

А... это как мой младший брат старается выговорить слово «ребенок». Ре-бе, говорит он. Он ведь еще дурак.

Конечно, он же твой брат.

Не задирайся, ты что, забыл, что ты — проповедник? С чего это ты позволяешь Сэмми смеяться над собой, ты тоже хочешь быть белым?

Нет! И Сэмми не белый, и надо мной он ничуть не

смеется, это значит проповедник на еврейском языке. Перестань валять дурака. Что это за игрушка, о которой все говорят? — И я постарался прочесть в его глазах правду, но он опустил веки.

Я только знаю, что она делает картинки, сказал Боди. Делает картинки — и не «кодак»?

Да, отец.

Я пожевал, припоминая все, о чем слышал: аэропланы, тракторы, паровые автомобили. Вдруг я, кажется, сообразил:

Делает картинки — и не «кодак»? Так, может быть, у него такой здоровенный, каким снимают тебя в цирке? Ну, ты знаешь, они еще вытаскивают тебя из воды, и ты должен ждать, пока не станешь сухой.

Боди покачал головой.

Нет, отец, это совсем другое. Они говорят, чтобы это увидеть, надо быть в темноте. И эти люди выходят сразу сухие.

Ты хочешь сказать, это «никель-одеон»? Я слышал, о нем говорили, когда мы проповедовали в Денвере.

Не думаю, отец, но, может, это они и имели в виду. Но послушай, скажи, как Сэмми раздобыл себе такую игрушку? Она не иначе должна стоить какой-нибудь миллион долларов.

Не знаю, сказал я. Но не забывай, у его папы бакалейная лавка. А кроме того, Сэмми такой хитрый, что, может, где-нибудь заказал себе эту штуку.

Это точно, он ведь еврей. Блосс, он много с тобой говорит по-еврейски?

Нет, как он может, когда я ему не могу ответить? Я бы хотел говорить по-еврейски, потому что они относятся к тебе по-настоящему хорошо.

Откуда ты знаешь, если не говоришь по-ихнему?

Потому что раз, когда папа Хикман взял меня проповедовать в Тулсу и мы разорились, он встретил приятеля, проводника пульмановских вагонов из Канзас-Сити, и рассказал ему, этот проводник отвел его в большой магазин, где хозяева были евреи — не магазин, а мечта, — и в ту минуту, как

мы вошли в дверь, эти евреи побросали дела, окружили проводника и стали слушать, как он говорит по-еврейски...

Он был цветной и говорил по-ихнему?

Вот именно, друг...

Боди мне не поверил:

Где он выучился, он что, ходил в еврейскую школу?

Папа Хикман сказал, что он вырос с ними. И еще он работал у них в Канзас-Сити. Папа Хикман сказал, что по субботам он торговал в их магазине. Тогда он был боссом, друг, и все ему подчинялись. Ты представляешь себе, Боди, что такое быть *боссом*?

М-да, но что было с ним в понедельник?

Он опять работал проводником.

Так зачем он это делал? Чепуха какая-то.

Я знаю, и папа Хикман сказал, что он пошел бродяжничать, потому что не мог возить шваброй по полу в понедельник, после того как в субботу он ворочал такими деньгами.

И я его не осуждаю, потому что это все равно как если утром тебя сделают старостой класса, то можно поставить пирожное против крекера, что какой-нибудь большой парень после уроков огреет тебя чем-нибудь тяжелым.... Так что тогда произошло?

Понимаешь, приятель папы Хикмана смеялся и говорил с этими евреями, и он им так понравился, что, когда он рассказал им, что нам нужны деньги, чтобы вернуться домой, они собрали нам эти деньги. Мы ушли оттуда с полсотней долларов. И они даже подарили мне для проповедей два новеньких галстука бабочкой.

Честно, Блисс?

Честно. Эти евреи совсем с ума посходили от этого проводника. Можно подумать, что он — возвратившийся блудный сын. На тебе еще арахиса.

Хотел бы я знать, что он сказал, чтобы получить такие деньги, сказал Боди. Может, он знал про них что плохое?

У тебя всегда в помыслах зло, сказал я. Думаю, они были счастливы поговорить по-своему не со своим.

Боди покачал головой:

Этот проводник был точно хитрый, выговорил у евреев такие деньги. Хотел бы я знать, как это делается, тогда бы у меня всегда была монетка на конфетку.

Дурак, эти евреи помогали нашим трудам во имя господне. Лучше бы ты вспомнил еще что-нибудь про эту коробку. Наверно, это просто волшебный фонарь — только там картинки не движутся.

Я очистил и съел семь орешков, стараясь представить себе, что из моих слов услышал Боди, задумавшийся о евреях. Это мне как будто напомнило что-то похожее, о чем говорил папа Хикман, но что именно — ускользало от меня, как яблоки по воде, когда ты стараешься до них дотянуться.

Скажи, отец, сказал Боди. Ты меня слышишь? Я говорю, ты помнишь, в Библии рассказано о Самсоне и говорится, что маленький мальчик должен был подвести его к столбам, чтобы он мог сотрясти здание, чтобы оно рухнуло?

Конечно, сказал я.

Так скажи мне, как по-твоему, этот мальчик был тоже убит?

Убит, говорю я, кто его мог убить?

Я хочу спросить, как по-твоему, старик Самсон не забыл сказать ему, что он собирается сделать?

Я резанул взглядом Боди. Мне не понравилось, куда он клонит. Как-то папа Хикман сказал мне: Блосс, ты должен быть героем, как тот маленький парнишка, который подвел слепого Самсона к стене, потому что большинство взрослых людей — слепые и их нужно вести к свету... Вопрос озадачил меня, и я постарался его замять.

Послушай, Боди, сказал я, сегодня уж точно я не собираюсь работать. Потому что, видишь ли, пока ты играешь в ковбоев, и валяешь дурака, и бегаешь на хлопковые поля, и швыряешь камни в других ребят, и все такое, мне-то приходится проповедовать, и молиться, и изучать Библию...

Ну и какое отношение это имеет к тому, что я тебя спросил? Ты хочешь, чтобы кто-нибудь над тобой поплакал?

Нет, но сейчас, когда тебе кажется, будто мы просто жуем этот вкусный арахис, болтаем друг с другом и смотрим, как

воробьи купаются в пыли на дороге,— на самом деле я отдыхаю от моих пасторских обязанностей, понял? Поэтому сейчас я хочу еще немножко подумать об этой коробке, которую, по слухам, заимел Сэмми Лидерман. Что говорили эти белые парни, как она выглядит?

Приятель, сказал Боди, когда ты начинаешь о чем-то думать, ты рычишь, точно бульдог над костью. Я же тебе сказал, они говорили, что у Сэмми машина, в которой люди...

Люди? Думай, что говоришь...

Точно, отец, люди. И говорят, будто он направляет ее на стену и стоит сзади в темноте и крутит ручку, и они выходят и движутся. Как шайка призраков.

Видя, что я качаю головой, он оживился, и глаза его засверкали.

Боди, ты хочешь, чтобы я в это поверил?

Блiss, послушай. Я оставил эту коробку, потому что хотел поговорить о Самсоне, а ты не захотел. Поэтому не старайся ловить меня на вранье...

Забудь о Самсоне. Где у Сэмми эта штука?

В подвале его папы под бакалейной лавкой. У тебя есть «никель»?

Я поглядел вдаль, за мыльные деревья. Маленькие ребятишки сидели на тележке, сделанной из широкой доски на колесах от детской коляски, и погоняли парня побольше. Он вез их на веревке, как конь, а они сбились в кучу и понукали. Я сказал:

Слушай, нам надо куда-то пойти и поджарить этот арахис. Тогда он станет еще лучше. Может, его нам поджарит сестра Джайсон? К тому же она делает отличные пирожки, и вдруг она их печет сегодня? Надо не забыть сегодня помолиться за нее на ночь, она добрая леди. А какое отношение к делу имеет «никель»?

Чтобы посмотреть, как они выходят и движутся, ты должен дать Сэмми два цента.

Я глянул на него. У него было круглое гладкое черное лицо со смеющимися глазами, он был на голову выше меня и ужасно сильный. Он понял мои сомнения и ухмыльнулся...

Они движутся, это точно. Клянусь моей бабкой, они движутся. Это еще не все: они ходят и разговаривают — только что они говорят, не слышно, — и они танцуют, и дерутся на кулаках, и стреляют, и втыкают друг в друга ножи; иногда они даже целуются, но не слишком. И они выпивают, друг, и шляются взад-вперед.

Звучит так, будто они вправду люди, сказал я.

Точно, и они скачут на конях, и воюют с индейцами, и все такое. Это жутко здорово, Блосс. Говорят, это потрясающе.

Мне хотелось поверить ему. Я спросил:

И они все вылезают из этой коробки?

Точно, отец.

А большие люди там у него, может, карлики?

Ну, коробка примерно вот такая...

Теперь я знаю, что ты врешь... А, Боди?

Что?

Ты ведь знаешь, что врать — грех. Ты давно это должен знать, я тебе это столько раз говорил.

Он взглянул на меня искоса:

Послушай, Блосс, только что ты отказался ответить, был убит мальчик, который вел Самсона, или не был, поэтому сейчас не читай мне проповеди. Потому что ты знаешь, я могу тебе дать по заднице. Я этого не желаю слушать. Сегодня не воскресенье. И никто не сведет меня в церковь в пятницу, потому что по пятницам у меня бывает желание давать проповеднику по заднице до тех пор, пока кровь не потечет из носу.

Я посмотрел на него укоризненно, но он уже был настроен дразнить меня.

Это правда, отец, а ты знаешь, что бог любит правду. По пятницам я задаю собачьему проповеднику взбучку. Если он хочет, пусть ловит меня в воскресенье, я согласен, если только он не слишком занудный. Даже по четвергам я ничего, только, пожалуйста, *пожалуйста*, пусть он не валяет со мной дурака в пятницу.

Я разбил орешек о его хвастливую голову. Он не уклонился, а уставился мне в глаза, стараясь переглядеть. В поедин-

ке глазами я победил — его губы дрогнули, и он рас- смеялся.

Отец, начал он, покачивая головой, я клянусь, ты мой наи- лучший друг, проповедник ты или не проповедник, — но с чего это проповедникам всегда надо быть серьезными? Взгляните на это лицо! Как же ты будешь выглядеть при виде какого-нибудь ужасного грешника. Какого- нибудь полночного, непутевого, подвыпившего картежника...

Я посмотрел на него укоризненно, но он продолжал сме- яться:

Ну-ну, отец, как ты будешь выглядеть...

Боди, я тебя предупредил...

Приятель, ты слишком серьезный. Я же тебе не вру про эту коробку — честно. Она вроде бы вот такой величины, но когда они выходят на стену, они делаются большие, как взрослые люди, — нет, *больше*. Это не иначе колдовство.

Должно быть, сказал я. И какие такие люди у него там в коробке? Ты можешь ответить таким же большим враньем.

Белые люди, да-да. Что ты думаешь — нет, у него еще там есть сколько-то индейцев. То есть если сколько-то их оста- лось после того, как вроде бы их убили.

И нет цветных?

Не, одни белые. Знаешь, они хотят взять все новые вещи себе. Они пустят нас посмотреть, когда там никого уже не останется.

Мы захихикали, прикрывая рты одной рукой и хлопая се- бя по ляжкам другой, как делают взрослые, когда шутка простенькая, а попадает не в бровь, а в глаз.

Значит, точно, это колдовство, сказал я. Потому что для них это единственный способ избавиться от цветных. Но честно, Боди, тут есть хоть чуть-чуть правды?

Все правда, чистая правда. Отец, я знаю, ты думаешь, что я вру, но я говорю тебе святую истинную правду. Эти люди у Сэмми в машине, как светлячки в кружке.

Как ты думаешь, сколько их там у него?

Он склонил голову набок и взглянул на меня искоса: Сотни две, может, и больше.

По-твоему, я и в это поверю?

А это правда. Он держит их там взаперти, и за четыре цента мы с тобой можем пойти и увидеть, как они выходят и движутся. Можешь сам все увидеть. У тебя есть четыре цента?

Конечно, но я коплю деньги. Надо придумать вранье по-лучше, чтобы выманить у меня деньги. Проповеднику деньги даются с трудом.

Чёрта, это вы только так говорите. Всего-то вам надо по-причитать да погорланить, а там уже блюдо передают по кругу. Но ладно, копи свои паршивые деньги, если хочешь быть таким жадным, потому что я уже не раз это за тобой замечал.

Замечал? Почему же ты мне говоришь только сейчас?

Я почувствовал, что меня предали, Боди был моей правой рукой. Он, цыкнув, сплюнул сквозь дырку между передними зубами и закатил глаза:

Чёрта тебе говорить, ты все равно ничему не веришь. Мне надоело, что ты споришь из-за каждого слова. Но все равно я говорю правду, они выходят и движутся, и они движутся быстро. Не как обыкновенные люди. А в последний раз я видел, как Сэмми сделал их совсем большими. Вдвое больше взрослых, и их было целый поезд...

Целый поезд?

Точно, целый поезд на насыпи, как наш южный... И ковбои гнались за ним на конях.

Боди, я буду за тебя молиться, ты слышишь? Больше того, я попрошу папу Хикмана, и он заставит всю церковь молиться за тебя.

Какой ты добрый, Блосс! Не воображай. Лучше попроси его помолиться за тебя, потому что ты не веришь ничему, что тебе говорят. Хватит, я пошел домой.

Не сердись — эй, погоди минутку, Боди! Вернись, куда ты? Вернись. *Пожалуйста*. Боди! Я же сказал «пожалуйста»...

Но только пыль взметалась из-под его убегающих пяток. Мне сделалось грустно: он был моей правой рукой.

Итак, теперь я был готов сказать:

Нет, папа Хикман, раз нам нельзя, давай туда не пойдем. Раз я проповедник, откажусь и от этого — зачем мне еще одно искушение? Лучше слушать, что рассказывают другие, — что я и делаю с той поры, как Боди стал приносить мне новости, а в городе появились движущиеся картины. Лучше под вечер сидеть на обочине и слушать или смотреть, как другие на переменке или во время обеда на школьном дворе в лицах разыгрывают увиденное. В любой полдень перед моими глазами мелькали сцены — я видел, как они колдовскими движениями оживляли слова — точно так же, как папа Хикман оживлял на людях Слово божие. И когда я глядел на них, я чувствовал, что вовлечен в мир картин с такой силой, словно не только их видел; но и участвовал в том, что происходило на стене, на которую не взглянул ни разу. Я переживал мир, выходящий наружу из стеклянного глаза, с теми же муками и усилиями, с какими верблюд проходит сквозь игольное ушко.

Папа Хикман здорово опоздал; страна моего сознания уже была заселена несметными табунами мчащихся лошадей, стреляющих на скаку индейцев и криками ковбоев и кавалеристов; и голова моя шла кругом от множества лиц, которые шлепались о глазное яблоко, точно мокрый снежок, разбивались и оставляли зримое ощущение бело-голубой боли, мерцавшей с каждым ударом пульса. И я сидел, опьяненный необъятностью действия, и размерами героев, и размахом их чувств и наших переживаний, я видел улыбки, огромные и зловещие, гнилые зубы, похожие на надгробные камни, и пасти во всю стену, и эти пасти, глумясь, угрожали вдруг проглотить всех зрителей. Потустороннее зло зияло в одном все подавляющем образе; героическое добро выражалось в действиях столь же яростных и очищенных, как циклон, увиденный издали, оно неизменно возвышалось над дьявольскими кознями плохих парней; женские глаза неизменно расширялись от ужаса или исходили слезами умиления при виде несмелых губ героя, океанских волн его волос, тяжело вздымающейся груди и взгляда, испол-

ненного страдания. Или в героине была решимость спасти свою женскую честь от плохого парня, и она спасала ее в одышливом конце с робкой помощью хорошего парня; спасала даже из темных лап индейского вождя, а я сжимался от страха под взлетающими копытами, но оставался цел и видел, как ее лицо во всю стену с улыбкой шириной в ярд сливалось с лицом героя и погружалось во тьму, шумную от вздохов женщин и девушек.

Или поезда неслись с бешеной скоростью, угрожая сойти с рельсов и разлететься на белые куски под откосом, причем дым и пар угрожали обжечь воздух и бросить адское пламя в прикованных к месту зрителей — они кричали, когда кочегар и машинист боролись не на жизнь, а на смерть с дьяволом, который оказывался то каким-нибудь Далтоном, то Джеймсом, то Янгером, чьи кони из дьявольской плоти обгоняли железных коней поездов, мчавшихся вверх и вниз, а пули летели, ударяясь о святилища почтовых вагонов дяди Сэма, где лежало золото и ждал своего часа герой; пули убивали несметные количества железнодорожников и пассажиров, вооруженных и невооруженных, радостных и сердитых, напуганных и бесстрашных. И злодеи в кустах подстерегали шерифа и его помощников и вновь и вновь сбрасывали их со скалы в яростный водопад, пока, словно солнышко, не появлялся герой, который заставлял главного злодея последовать за жертвами, и злодей тоже летел со скалы или получал пулю в живот, откуда текла черная кровь; или в черном балахоне, со своими сообщниками, по три в ряд, висел на обыкновенной виселице, качаясь на холодном ветру, как кукла, набитая опилками.

Все это вихрем врвалось в мое сознание, профильтрованное сквозь сознание Боди и чужие глаза и воплощенное в крикливую пантомиму борьбы, в точно прицеленные пистолеты и ружейную пальбу, в последнее падение, с лицом, изображающим муки смерти, в то время как револьвер посылал последнюю поэтическую пулю громогласной справедливости, чтобы отправить убийцу к черту, к черту в ад, причем небо в тучах колебалось от изумления под нашими ногами...

И вот я бы предпочел не ступать туда ногой, будь там даже шпиль выше, чем над самой высокой церковью в мире; не ходить туда, решительно пройти мимо было легче, чем увидеть раз и никогда больше туда не заглядывать,— и пусть все бесчисленные невиденные эпизоды останутся тайной и, как моя мать, уплывут навеки.

Но я не мог ни сказать это, ни отказаться, ибо нет языка, на котором ребенок мог бы говорить со взрослым. И поэтому я, Блосс, проповедник, неохотно держась за огромную лапу папы Хикмана, стал подниматься по ступенькам, по узким ступенькам прохода, заваленным скорлупой земляных орешков и обертками от леденцов,— мы поднимались в пышущую жаром тьму, пока крыша словно не уперлась в наши головы... И когда мы вошли в красный свет и в ряды с нумерованными сиденьями, я потянул его за руку, испугавшись того, чего я не знаю.

Идем, Блосс, мальчик, успокоил он меня в темноте. Все в порядке, сказал он, я ведь с тобой. Держись за меня.

И я пошел вверх, держась за его руку.

Радостные дни июня

Нет, думал раненый, ни за что! Как я могу вернуться туда, к толпе старомодных негров, которые празднуют иллюзию освобождения и валят освобождение в кучу с вознесением, песнями ряженных и балаганными шутками! Вернуться на просеку, под полотняный навес, к чашеобразному углублению под соснами!.. Боже, болит. Безбожно болит, немилосердно. Слов нет, как болит. Тут, особенно тут. И все-таки перед глазами после стольких лет странствий и стольких событий два аналоя друг против друга на противоположных концах помоста, и за одним из них на широком ящике стою я, цепляясь за верхний край аналоя. Вернуться! Папа Хикман стоит у другого. Вернуться к первому дню той праздничной недели. К Радостным дням июня. Жарко, пыльно.

Жарко от лиц, исходящих потом, от металлического блеска причесок — молодые пижоны щипцами распрямили себе волосы и напонадились. Вернуться туда? Тогда он был не такой грузный, просто крупный мужчина с бурной энергией боевого быка, и по-прежнему сзади него на пианино лежит помятый серебристый тромбон, чтобы в разгаре проповеди потянуться к нему и выдуть звуки, похожие на его усиленный голос, звуки убеждающие, обвиняющие, ликующие — они выливались в сплошной бессловесный вопль. В незнакомых городах и городках вокруг него всегда толпились джазисты. Джаз. Что там и в те годы значили джаз и религия? Ну да, да, я любил его. Все на Юге любили его. Он шел по улице как огромный добрый медведь, и моя рука терялась в его здоровенной лапе. Или он нес меня на плече, и я касался рукой нижних веток. Настоящий отец, только черный-черный. Что, он был шарлатан — как и я — или просто умел приспособиться? Знал он себя, хотел ли знать? Снова к тем же вопросам? Почему я должен вернуться к истокам, когда только он знает, как началось?..

Радостные дни июня, он облокотился на аналой и с широченной улыбкой смотрит в их лица, потом бросает взгляд на меня — удостовериться, что я не забыл свою роль, — и подмигивает мне большим глазом с красными веками. И женщины с обожанием смотрят то на него, то на меня, поптичьи склонив голову набок. И он начинает:

Братья и сестры, в этот богоданный день, когда мы, начиная неделю молебствий, собрались здесь, чтобы воздать хвалу господу и восславить наше единство, давайте заглянем в самую главную книгу. Давайте в этот день избавления взглянем на письма, начертанные на наших телах и на живой скрижали нашего сердца. У детей иудеев есть пасха, чтобы они сберегали свою историю в памяти, — так давайте же возьмем из их книги еще одну страницу и в этот великий день избавления, день нашего освобождения давайте расскажем самим себе нашу историю...

Пауза, широченная улыбка...

Все равно, кроме нас, никому она не нужна — так давай-

те воспользуемся ею, да, давайте поучимся у нее.

И возблагодарим за нее бога. Не побоимся потревожить ее, ибо по счастливому стечению обстоятельств с нами отец Блосс. Он выступит от имени юного поколения, а я постараюсь рассказать вам историю так, как ее рассказывали мне. Только взгляните на него, он ждет, и у него полно вопросов — потому что он знает, что истинный проповедник — всегда учитель и что без знания своей истории мы не поймем господне благословение и не узнаем, как далеко нам осталось еще идти. Итак, вы слышали его голос и знаете, что он может произнести проповедь.

Амины! — отвечали они хором, а я глядел в их сияющие глаза как проповедник и готовился своим фальцетом поддержать его баритон.

Истинно, что аминь, говорил он. Вот мы здесь, пять тысяч человек собралось на празднование. Почему? Не просто так. Мы здесь — это неопровержимый факт, но почему мы здесь? Как и почему мы в этом лесу, который, считается, далеко от города? Что ты скажешь об этом, отец Блосс? Не с этого ли вопроса следует нам начать?

Благослови вас господь, отец Хикман, я думаю, именно отсюда мы и начнем. Мы, юное поколение, до сих пор ничего не знаем о делах прошлого. А потому, пожалуйста, сэр, расскажите, как мы оказались здесь, в нашем нынешнем положении и в этой стране...

Ну как я могу вернуться к тому себе, шести-, семилетней кукле чрево вещателя, разодетой в белый вечерний костюм? И того прирожденного шарлатана — себя самого должен ли я лишать милосердия?..

Было ли это деяние всемогущего бога, отец Хикман, или деяние человека?..

К той кукле с памятью цепкой, как липучка для мух?..

Аминь, это было деяние бога, отец Блосс, братья и сестры, но совершилось оно посредством — я подчеркиваю, — посредством деяний жестокого, безбожного человека.

Деяние всемогущего бога (*раздавалось утроенное эхо моего голоса*), но руками безбожного человека.

Аминь, отец Блосс, именно так оно и произошло. По моему разумению, это было тяжелое горе, окруженное благодатью,— или чистая благодать, окруженная горем...

Окруженное благодатью, отец Хикман? Мы отчасти понимаем вас, ибо вы учили, что меч господа — обоюдоострый. Но, пожалуйста, расскажите нам, юному поколению, почему это была благодать?

Это была благодать, братья и сестры, потому что в боли и страдании, в бурной ночи мы обрели Слово божие.

Итак, здесь мы обрели Слово. Итак, мы с вами здесь, аминь. Но откуда мы пришли сюда, папа Хикман?

Мы пришли сюда из Африки, сынок. Мы вышли из Африки.

Из Африки? Из-за океана? Из черной страны? Где водятся слоны, и обезьяны, и львы, и тигры?

Да, отец Блосс, из страны джунглей. У некоторых из нас светлая кожа, как у тебя, но все мы из Африки.

Точно из Африки, сэр?

Мы все дети ограбленной мамы черного человека, сынок.

Боже, ты вывел нас из Африки...

Из нашей родимой тьмы, аминь. Из Африки. Они свезли нас сюда со всей Африки, отец Блосс. И некоторые из нас были сыновья и дочери языческих царей...

Настоящих царей, папа Хикман? Правильно ли расслышали мы, юное поколение? Некоторые были родня царей? Настоящих царей?

Амины! Мне говорили, что некоторые были сыновья и дочери царей...

Царей!..

А некоторые были сыновья и дочери воинов...

Воинов...

Неустрасимых воинов. А некоторые были сыновья и дочери земледельцев...

Африканских земледельцев...

А некоторые — музыкантов...

Музыкантов...

А некоторые были сыновья и дочери оружейников, медных и железных дел мастеров...

Но разве у них не было судей, отец Хикман? И разве не было там проповедников Слова божия?

Там были судьи, но ни одного проповедника Слова божия, отец Блисс. Ибо мы пришли из языческой Африки...

Языческой Африки?

Из языческой Африки. Не будем ее приукрашивать, ибо истина — свет.

И они привезли нас сюда в оковах...

В оковах, сынок, в железных оковах...

Из-за полсвета они привезли нас...

В оковах и на судах, которые, как нас учит история, не годились для перевозки свиней — потому что свиньи стоят денег и нельзя, чтобы они мерли, как мерли мы. Но они похищали нас и привозили сюда на судах — эти суда, мне говорили, были быстрее коршунов и заражали великие торговые ветра зловонием нашего умирания и их преступления...

Какого преступления? Объясните нам, отец Хикман...

Это было преступление, отец Блисс, братья и сестры, подобное падению гордого Люцифера.

Но почему, папа Хикман? Вы всегда учите нас, прогрессивное молодое поколение, спрашивать почему. И вот мы хотим знать, почему это было преступление.

Потому что, отец Блисс, эта страна поначалу посвятила себя заповедям всемогущего бога. Этот корабль «Мэй-флауэр», о котором вы столько слышите накануне Дня Благодарения, был христианский корабль — аминь! Да, и те разноименные плавучие гробы, что привезли нас сюда, тоже были христианские. Эти люди предали того самого бога, который освободил их от европейских королей-тиранов. Ибо, господь их прости, как только сами они вздохнули свободно, они принялись угнетать нас...

Они заставили господя нашего проливать слезы!

Аминь, отец Блисс, аминь. Господь, надо полагать, прослезился, как Иисус. Бедный Иона попал во чрево кита, но по сравнению с нашим путем сюда его путешествие было

полетом в рай на серебристом облачке.

Нам было хуже, чем старику Ионе, отец Хикман?

Хуже, чем Ионе. В китовой блевотине с ног до головы, он мог отдышаться на берегу. А мы отправились в ад на этих плавучих гробах — не забывайте об этом вы, молодые люди! Матери и младенцы, мужчины и женщины, живые, и мертвые, и умирающие — все скованы друг с другом. И все же, хвала господу, большинство из нас прибыло в эту страну. Самые сильные уцелели. Слава богу, мы прибыли, и вот поэтому мы здесь сегодня. Я ответил на твой вопрос, отец Блисс?

Аминь, папа Хикман, аминь. Но теперь юное поколение хотело бы узнать, что они делали с нами, когда привезли нас сюда. Что тогда было?

Они привезли нас в эту страну в оковах...

...В оковах...

...И загнали нас в болота...

...Загнали нас в малярийные болота...

И они заставили нас осушать болота и до упаду трудиться под палящим солнцем...

...Заставили нас до упаду трудиться...

Они взяли белое руно хлопка и сладость сахарного тростника, и хлопок стал красным от нашей крови, а сахар горьким от нашего пота... И они обращались с нами как с одним огромным безликим животным...

Безликим, отец Хикман?

Лишенным личности и имен, отец Блисс. Мы стали никто, даже не мистер Никто, просто никто. Они отняли у нас имена. Отняли право выбирать свой путь. Право работать или не работать, быть или не быть...

Вы хотите сказать, мы остались без лиц и без глаз? Мы были слепые, точно Самсон в Газе? Я правильно понял, отец Хикман?

Аминь, отец Блисс. Как остриженный Самсон перед тем, как безымянный маленький мальчик вроде тебя подошел к нему — так говорит нам Священное Писание — и подвел его к столбам, на которых стоял тот огромный дом. И вы,

маленькие черные мальчики, и вы, маленькие коричневые девочки, вы сотрясете и разрушите это здание! И тогда — о, как тогда вы будете строить во имя Господне!

Да, отец Блосс, мы были слепые, как несчастный Самсон среди филистимлян — и хуже...

И ХУЖЕ?

Хуже, отец Блосс, потому что они разрезали нас на мелкие кусочки, как фермер — картофелину. И они разбросали нас по стране. От Кентукки до Флориды, от Луизианы до Техаса, от Миссури вниз по всей великой реке Миссисипи до самого Залива. Они разбросали нас по стране.

Как это, папа Хикман? Вы говорите притчами, и мы, юное поколение, не все вполне понимаем. Как это они разбросали нас?

Как семена, отец Блосс. Они разбросали нас, как пьяница фермер, который засеял поле зубами дракона!

Папа Хикман, расскажите об этом!

Они вырвали у нас языки...

...Они лишили нас речи...

...Они вырвали у нас языки...

...Боже, они сделали нас бессловесными...

...Аминь! Они разбросали наши языки по земле, точно семена...

...И оставили нас без языка...

...Они отняли у нас наши говорящие барабаны...

...Говорящие барабаны, папа Хикман? Расскажите нам о говорящих барабанах...

Эти барабаны передавали вести, как телеграф. Стук их раздавался по всей стране, как звон церковных колоколов. Эти барабаны сообщали о событиях чуть ли не раньше, чем события произошли! Эти барабаны говорили могучими голосами, точно большие люди! Эти барабаны, как совесть, как сокровенное биение сердца, отделяли добро от зла. Эти барабаны приносили радостные известия! Эти барабаны издали предупреждали о беде! Эти барабаны задавали нам наш собственный ритм и говорили нам, где мы...

Вот это барабаны, отец Хикман...

...Да, и они отняли у нас барабаны... Отняли — аминь!
Отняли! И они запретили наши языческие танцы...

...Они оставили нас без барабанов и без танцев...

Да, да, они сожгли наши говорящие барабаны и наши танцевальные барабаны...

...Барабаны...

...И они развеяли пепел...

...А! Ааааа! Без глаз, без языка, без барабанов, без танцев, пепел...

И худшее еще ждало нас впереди, о боже!

Расскажите нам, отец Хикман. Возвестите своей праведной трубой!

Ах, отец Блосс, в те дни у нас не было труб...

Не было труб? Вы слышите?

И у нас не было песен...

...Не было песен...

...И у нас не было...

...Сосчитайте по пальцам, чего нас лишил жестокий человек...

Аминь, отец Блосс, перечислите...

Мы были без глаз, без языка, без барабанов, без танцев, без труб, без песен!

Верно, отец Блосс. У нас не было глаз, чтобы видеть. Не было языка, чтобы говорить или пробовать пищу. Не было барабанов, чтобы поднять наш дух и пробудить воспоминания. Не было танцев, чтобы вселить в нас ритм, от которого жизнь оживает. Не было песен, чтобы вознести хвалу и молитвы господу!

Мы были поистине во тьме, мои юные братья и сестры. Без глаз, без ушей, без языков, без барабанов, без танцев, без песен, без труб, без слов...

Но худшее было еще впереди!

...Худшее было еще впереди...

Расскажите нам, отец Хикман. Только не слишком быстро, чтобы мы, юное поколение, имели время собраться с мыслями. Чтобы мы могли слушать и не пали духом.

Я говорил, отец Блосс, братья и сестры, они похитили нас

из лона Африки. Я говорил, что они отняли нас у наших мам и пап, у наших сестер и братьев. Я говорил, что они разбросали нас по этой стране...

...А были мы, братья и сестры,— давайте опять сосчитаем и подведем итог: без глаз, без языков, без барабанов, без танцев, без песен, без труб, без слов, без глаз, без дня, без ночи, без зла, без добра, без матери, без отца — разбросанные по стране.

Да, отец Блосс, они разбросали нас, как семена...

...Как семена.

...Как семена, широко рассеянные по невспаханной почве...

О, повторяйте за мной, мои юные братья и сестры! Без глаз, без языков, без барабанов, без танцев, без песен, без труб, без слов, без глаз, без зла, без добра, без матери, без отца, без братьев, без сестер, без сил...

Аминь! Но хотя они взяли нас, огромного черного великана, рассекли на мелкие кусочки и похоронили; хотя в незнакомой нам жизни при незнакомой погоде они лишили нас нашего прошлого; и снова делили, делили и делили нас и перемешивали, как картежник колоду карт. И хотя мы были разбиты в лепешку, стертые в порошок, оплеваны, раздавлены, прокляты и погребены и наши воспоминания об Африке обратились в пыль и неслись в ветре забвения...

...Аминь, папа Хикман! Униженные, босые, затоптанные и ничтожные, точно песчинки на берегу моря...

...Аминь! Боже — сосчитай опять, отец Блосс...

...Мы были без глаз, без ушей, без носов, без глоток, без зубов, без языков, без рук, без ног, без пальцев, без зла, без добра, без вреда, без барабанов, без танцев, без песен, без труб, без слов, без глаз, без зла, без добра, без матери, без отца, без сестер, без братьев, без плугов, без мулов, без еды, без ума — и без бога,— отец Хикман, вы сказали, без бога?

...Поначалу, отец Блосс, сказал он, и голос его сменил звук тромбона, широкий, мрачный и благородный. Поначалу. Разделенные, разбросанные, раздавленные, вбитые в землю,

как кол, вбитый десятифунтовым молотом, мы были на земле и в земле, а земля была рыжая и черная, как земля Африки. Мы гнили в земле и смешивались с этой землей. Мы полюбили ее. Мы слились с ней. Она была в нас, а мы в ней. И тогда — хвала господу — глубоко под землей, во чреве этой земли мы начали шевелиться!

Хвала Господу! Наконец-то, наконец!

Аминь!

Боже, как сладок вкус истины!

Но на что это было похоже, отец Блосс? Ты читал Писание, скажи нам. Скажи, как там написано.

МЫ БЫЛИ СЛОВНО В ПОЛЕ, ПОЛНОМ СУХИХ КОСТЕЙ!

Аминь. Словно в поле, полном сухих костей в видении Иезекииля. Ооох! Мы лежали, разбросанные в земле долгое время засухи. И ветры дули, и солнце палило, и дожди приходили и уходили, а мы были мертвые. Господи, мы были мертвые! Разве... Разве...

...Разве что, отец Хикман?

Разве что остался один живой нерв из нашего уха...

Слушайте все!

И один нерв из стопы...

...Запомните это, братья и сестры...

Аминь, Блосс, показывай им... И один нерв из глотки...

...Из глотки — вот отсюда!

...Из зубов...

...Один нерв из тридцати двух наших зубов...

Из языка...

...Без языка...

...И еще один нерв из сердца...

...Да, из нашего сердца...

...И еще один из наших глаз, и по одному из рук и ног, и еще один из наших яиц... Аминь. Поддержи меня, отец Блосс...

...Все они зашевелились в земле...

...Аминь, зашевелились, и в самой середине нашей смерти и погребенности голос господень сказал с небес Слово...

...Он сказал: восстаньте! Я говорю: восстаньте! Восстаньте...

Живы эти сухие кости?

Он сказал, сын человеческий... ты под землей, а! В холоде между корнями трав и деревьев... Сын человеческий, восстань... Я говорю: восстань...

...Я говорю, восстань, сын человеческий, восстааааань!..

Живы эти сухие кости?

Аминь. Мы услышали и восстали. Потому что, что бы они ни делали с нами, они не могли ничего сделать ни с единым звуком истинного Слова божия... Мы услышали его из-под корней и из-под камней. Мы услышали его из песка и глины. Мы услышали его в шелесте дождя и в восходе солнца. На горах и в лощинах. Гниющие в земле, мы услышали его. Мы услышали его, как трубный глас, пробуждающий мертвых. Восстааааань! Да, живы эти сухие кости!

А были наши сухие кости живы, папа Хикман?

О, они соединились и зашагали. Кости наши стучали и собирались в скелеты. И они зашагали в едином ритме! Восстаньте! Я говорю, восстаааааньте — эти сухие кости живы!

И я в белом фраке, исполненный силы, зашагал по помосту, чуть не приплясывая.

Папа Хикман, кричал я, так мы тогда зашагали?

О, мы прошли сквозь Иерусалим, совсем как сам Иоанн. Так, отец Блосс, шагай! Покажи им, как мы шагали!

Так, папа Хикман?

Именно так. Теперь назад. Выше ногу! Шире маши руками! Пусть фалды пляшут! Шагай! — И он заставил меня трижды обойти помост вокруг его аналая. Да, да! — И его голос зазвучал глубоко и торжественно: И если в городе они спросят вас, почему мы славим бога басовыми барабанами и медными тромбонами, ответьте им, что мы возродились танцуя, мы возродились, подтверждая истинность Слова божия, призывая нашу погибшую плоть.

Амины!

Ах, отец Блосс, мы топали ногами при звуках трубы и хло-

пали в ладоши — да, да — от радости! Мы воссоединились в танце, аминь! Ибо мы получили новую песню в новой стране, и нас возродили Слово и Воля божия!

Аминь!

...Мы возродились из земли в этой стране, и нас оживило Слово. И вот у нас новый язык и новая песня, и от них наши кости покроются плотью...

Новые зубы, новый язык, новое слово, новая песня!

У нас были новое имя, и новая кровь, и новая цель...

Расскажите, отец Хикман...

Слово заменило нам хлеб и мясо. Слово заменило нам пищу и кров. Слово было краеугольным камнем, на котором мы созидали новый народ, ибо, по правде говоря, мы возродились снова в стальных оковах. Да, и в оковах невежества. Все, что мы знали, это дух Слова. У нас не было школ. Мы не владели ни орудиями труда, ни жилищами, ни церквями, ни даже собственными телами.

Юные братья, мы были в стальных оковах. Юные сестры, мы были в оковах невежества. Мы были без школ, без орудий труда... Мы были чужой собственностью...

Аминь, отец Блисс. Мы были чужой собственностью, нам предстоял непосильный труд — превратить Слово божие в светильник, чтобы во тьме понять, где мы. Господь не дал нам легкой жизни, ибо он всегда готовит людей в доооолгий путь. Он заглядывает далеко вперед, и на этот раз волю его должны исполнить испытанные люди. Он ищет людей зоркого глаза, быстрого ума и щедрого сердца, чтобы дать названия вещам и ценностям мира сего. Он устал от незакаленных орудий и подслеповатых строителей! Поэтому он снова будет испытывать нас камнями и пламенами. Он будет калить нас докрасна и погружать в ледяную воду. И каждый раз мы будем выходить из нее голубые и прочные, как холодная голубая сталь! О да! Он желает, чтобы мы стали новыми людьми. Может быть, мы не станем господним народом, но мы станем частицей его, одной из его стихий, аминь! Он хочет, чтобы мы были гибкими, как прутья ивы, и прочными, как сыромятная кожа,

так что если бы нам вновь пришлось согнуться, мы разогнулись бы и стали прямые, как прежде. Он будет поражать нас стрелами молний, чтобы у нас были неутомимые ноги и быстрые, как молния, умы. Он будет водить нас взад и вперед по этой стране и прогонит сквозь строй бедствий и зашатайств, злобы и непонимания. И кто-то будет жалеть вас, а кто-то презирать. И кто-то постарается извлечь из вас пользу и заставить вас измениться. И кто-то будет гнать вас и постарается выставить из игры. И иногда вам придется так худо, что захочется умереть. Но это все бремена господни. Он дает вам волю, и он хочет, чтобы вы проявили ее. Он дает вам мозг и хочет, чтобы вы научились умом преодолевать все препятствия. Учитесь, братья и сестры! Воспользуйтесь тем, что у вас есть, чтобы добиться того, что вам нужно! Научитесь смотреть своими глазами и не слушать тех, кто объясняет вам, что вы видите. Если придется, воздайте кесарю кесарево, но все упование возложите на бога. Ибо ни у кого нет патента на истину и авторского права на лучший способ жить и служить всемогущему богу. Учитесь у того, что вы пережили сами. Помните, что когда от работы разламывается спина, а надсмотрщик жесток, наше пение способно поднять дух. Оно может придать нам силы и превратить издевательства в мушиную назойливость пустопорожнего человека. Кружитесь под ударами, как старый Джек Джонсон. Танцуя, уходите с пути зла, как Уокер и Уильямс. Не теряйте ритма, и вы не расстанетесь с жизнью. Сроки у господя долгие, и лошади, не способные к дальней дороге, превратятся в деревянных лошадей карусели. Ритм, ритм, ритм — и вы никогда не устанете. Не теряйте ритма, и вы не собьетесь с пути. Мы связаны по рукам и ногам, аминь! Потому что господь желает видеть нас сильными! Мы начали безо всего, с одним Словом — так же, как и они, но они забыли его... Мы трудились и выдержали все напасти и поношения. Мы научились терпению, мы поняли Иова. Изо всех тварей один человек не рождается, зная почти все, что ему предстоит узнать. Он растет дольше, чем слон, потому что господь не желает, чтоб человек при-

ходил к скоропалительным выводам, ибо господь — в самом течении жизни. Мы узнали, что благодать всегда смешана с горем, что во всех злоключениях — всегда что-то смешное. Жизнь — это то густо, то пусто. О да! Мы научились отталкивать и презирать то, о чем грезит дурак. И мы должны дальше учиться. Они — пусть они веселятся. Даже пусть себе кушают крылышки колибри и говорят, что вы недостойны такой еды. Овсянка и овощи ни в одном рту еще не становились золой — что скажешь, отец Обжора? Аминь? Амины! Все скажите: аминь. Овсянка и овощи — скромная пища, но она придает силы, и когда праведные люди собираются есть их, они на вкус не хуже амброзии. Так прибегнем же, прибегнем к своим собственным источникам силы!

О да, так мы возродились, отец Блосс. Они продолжали держать нас в узах, мы, как и прежде, трудились на их полях, но мы обрели тайну, мы обрели новый ритм...

Расскажите об этом ритме, отец Хикман.

Они держали нас в узах, но у нас был свой ритм, отец Блосс. Они были на карусели, которой не могли управлять, а мы учились ритму у времени года. Мы научились понимать эту страну, эти свет и тьму, эту погоду, и все это подошло нам, как пара нового свежего белья. У нас был наш новый ритм, аминь, но мы были несвободны, и они продолжали делить нас. Многие тысячи из нас были проданы. Маму разлучали с папой, а детишек продавали куда-нибудь еще. Мы были битые, поруганные, босые. Но у нас было Слово, отец Блосс, так же как и ритм. Теперь они не могли разделить нас. Потому что куда бы они ни загоняли нас, наши сердца бились в едином ритме. Если у нас был случай петь, мы все пели одну песню. Если у нас был случай танцевать, хлопая в ладоши и топая ногами, мы отгоняли беды и поношения и все танцевали один танец. О, иногда они приходили посмеяться над тем, как мы восхваляем господя. Пусть смеются — они не могут отнять у нас бога. Они могут поносить нас и убивать, но они не могут уничтожить нас всех. Эта страна наша, потому что мы вышли из нее, мы оросили ее своими слезами и кровью, ее удобрили наши отцы и деды.

Поэтому чем больше они нас уничтожают, тем больше она наполняется духом нашего вызволения. Они смеются, но мы знаем, кто мы и где мы, а миллионы их накатываются на нас, как волны, но они ничего о себе не знают и не могут объединиться.

Папа Хикман, скажите, откуда мы знаем, кто мы?

Мы знаем, где мы, по тому, как мы ходим. Мы знаем, где мы, по тому, как мы говорим. Мы знаем, где мы, по тому, как мы танцуем. Мы знаем, где мы, по тому, как мы славим всевышнего. Мы знаем, где мы, ибо в наших умах и сердцах новая музыка. Мы знаем, кто мы, потому что когда мы, созидая день, отбиваем ритм, вся страна говорит: аминь! Она улыбается нам, отец Блосс, и она движется в нашем ритме! Не стыдитесь себя, братья мои! Не давайте себя запугать. Не бросайте то, что у вас есть! Продолжайте! Помните! Уповайте! Верьте ритму сердец, он говорит нам, кто мы. Доверьтесь богу, доверьтесь жизни, доверьтесь стране, которая вы сами! Не обращайтесь внимания на тех, кто смеется и издевается над вами, ибо это у них от бессилия. Они могут презирать вас, но не ваше чувство жизни. Они ненавидят вас, ибо каждый раз, когда они смотрятся в зеркало, их переполняет едкая желчь. Так забудьте о них и, главное, не презирайте самих себя. Они привязаны к кружащейся карусели короткой веревочкой. Они оставляют в жизни только борьбу и злобу, злобу и борьбу. Смотрите сами, кого вы можете ненавидеть; смотрите сами, чего вам удастся добиться. Не спешите, будьте медлительны, словно старая гусеница. Если вы будете прибавлять один к одному много раз, вскоре у вас получится миллион. До этих Радостных дней июня была куча Радостных дней, и я говорю вам, что пройдет еще куча Радостных дней, пока мы не обретем истинную свободу! Да! Лишь сохраняйте ритм, всего-навсего сохраняйте ритм и не сбивайтесь с пути истинного. Человек предполагает, а бог располагает. Не обращайтесь внимания на презирающих вас, но помните глубоко, всем сердцем, что данная нам жизнь — лишь подготовка к другим делам, она — испытание, отец Блосс, сестры и братья; испытание, благодаря ко-

торому мы видим то, чего другие в самоослеплении видеть не могут. Все переменится, когда нам придется стать их глазами, время вздрогнет и обернется. Я говорю вам, время вздрогнет и обратится вспять...

Вот такие дела

Мальчик глянул через трещину в двери и застыл, обратив ко мне большие глаза. Он так и стоял, пока его мать не пригласила меня войти. Квартира была вполне типичной для Гарлема; теперь — с наступлением осени — в ней было прохладно. Комната чисто выметена и обставлена старомодной мебелью, до боли знакомой жителям нашей части города: два старых кресла и диван на выцветшем рыже-голубом ковре. Все чисто, пожалуй, даже слишком; в узкой комнате тесно от мебели.

— Садитесь тут, сэр,— сказала женщина.— Уилбер всегда тут сидел, до того как уехал служить. Кресло удобное.

Она устало опустилась на диван. Свет от большого красного абажура, отраженный зеркальным столиком, упал на ее лицо.

На вид ей лет пятьдесят, волосы только начинают седеть. Рядом с ней, на крышке радиоприемника — фотография в рамке: молодой человек в военной форме широко улыбается.

— Это мой мальчик, Уилбер,— гордо сказала она.— Сержант.

— Уилберу дали медаль за отличную стрельбу,— вставил мальчишка.

— Ты лучше помолчи и иди доедай. Только и думает что о стрельбе.— Ее голос пронизан той резковатой нежностью, что отличает негритянских матерей.

Мальчишка нехотя открыл дверь и пошел на кухню. Донесся запах риса, гороха и свиных отбивных.

— Кто пришел, Томми? — спросил визгливый голосок.

— Ну-ка ешьте спокойно,— крикнула миссис Джексон.—

Хватает мне с ними забот. Не одно, так другое. Вот на днях иду по нашей улице и такое вижу, что чуть не померла со страху. Представляете, Томми взял да и повис на трамвае! Ну я ему надавала хорошенько. Теперь небось к трамваю не подойдет. Он мальчик-то неплохой, только все повторяет за другими. Хотела их на лето отправить в лагерь, но в этом году не вышло — уж больно с деньгами плохо. Знаете, каково в Гарлеме воспитывать детей!

Миссис Джексон — мать и глава семьи (как это часто бывает в негритянских семьях). Ее муж умер несколько лет тому назад, когда младшие дети были еще совсем маленькими. Она зарабатывала сколько могла, убираясь в чужих квартирах, и растила малышей с помощью старшего сына.

В этой женщине есть тихая бестрепетность. Только ее натруженные руки иногда сжимаются и разжимаются, выдавая внутреннюю тревогу, хотя лицо спокойно. Я предлагаю подождать, пока она поест, но она говорит, что слишком устала и не может есть, лучше поговорить.

— С тех пор как война началась, вам, писателям, работать легче? — спрашивает она.

— Увы, нет, — отвечаю я.

— Вот как? Ну, я про это ничего не знаю. Знаю только, что негров в писатели идет немного. Наверно, тут, как в любом другом деле, у одного ладится, у другого нет. Вот третьего дня на Двадцать шестой улице выселяли одного адвоката, я сама видела. Да, сэр, прямо как в тридцатые годы! Вещи свалили на тротуаре, соседские негры повысывались из окон, а сам бедняга суетится, старается убрать вещи с улицы дотемна, да уж, знаете!..

Я и сам помнил этот эпизод, так как в тот день проходил по Двадцать шестой улице. Папки с бумагами, комод, кровати, столы и ящики — все лежало на тротуаре, увенчанное розово-голубыми тюфяками и грудой постельного белья. Как она сказала, собралась толпа: одни возмущались, другим просто было интересно; все разговаривали вполголоса, чтобы не обидеть выселенную семью. На тротуаре горой лежали

книги по юриспруденции, а рядом белый котенок с черными пятнами (это не писательские «штучки», так оно и было!) играл с диванной пружиной. Я сказал ей, что видел выселение.

— Господи помилуй! — продолжала она.— А все эти книжки вы видели? Разве можно выселять человека, у которого столько серьезных книг! Меня саму выселяли в тридцать седьмом году, когда все сидели без работы. И опять угрожали, уже когда Уилбер ушел в армию. Но я за себя постояла, потом получила пособие, так что обошлось. А вообще это с любым может случиться.— Последние слова она произнесла так, словно в чем-то оправдывалась.

— Ну, а в остальном как дела? — спросил я.

— Тяжело, сынок... Вы простите, что я вас так — «сынок», но вы, наверно, как раз моему Уилберу ровесник.

Она резко откинулась на спинку дивана.— А почему вы не в армии?

— У меня жена и дети.

— Понятно.— Она подумала.— Уилбер тоже бы женился, только он все помогал мне с малышами.

— Что уж тут говорить,— сказал я.

— Тяжело,— повторила она.— Продукты подорожали. Сами понимаете: то одно, то другое — прямо не знаю, что будет. И потом, конечно, раньше Уилбер зарабатывал, а теперь...

Она пристально посмотрела на меня.— Значит, хотите знать, как мы живем? А сами вы что, не из Гарлема?

— Из Гарлема, но мне интересно, что вы думаете.

— А потом про все напишете?

— Не про все, но напишу. Вас называть не стану.

— Это мне все равно. Пусть знают, что я думаю.

Она немного помолчала, потом опять заговорила с подозрением:

— А ведь вы не сказали, где живете.

Я невольно засмеялся, и она тоже рассмеялась.

— В районе Амстердам авеню.

— Это правда?

- Честное слово.
- Квартира у вас хорошая?
- Средняя. Сами знаете, какие тут квартиры.
- Да вы, поди, живете на Сахарном холме*.
- Нет, я не из этих.
- А вы случайно не следователь какой-нибудь?
- Нет-нет.
- Так я вам и поверила! — Она улыбнулась.

Я покачал головой, и она засмеялась.

- У них вечно всякие хитрости,— проговорила она.—

Попробуй раскуси!

Но теперь ее подозрительность, кажется, совсем улетучилась; сложив руки на клетчатом подоле, она приготовилась говорить.

— Худо-бедно, а живем. Я еще работаю, малыши у меня ходят в школу, за квартиру плачу. Конечно, было бы легче, если бы правительство деньги переводило вовремя...

Она умолкла и показала на фотографию молодой женщины.

— Еще лучше, если б Мэри — это моя вторая после Уилбера,— если б ее приняли на курсы и дали потом работу на каком-нибудь военном заводе, так чтоб получать приличные деньги. Боюсь только, ничего у нее не выйдет. Вот недавно ездила она на электромеханический завод в Керни, Нью-Джерси, ну, устроили ей там какую-то проверку, да этим дело и кончилось.

— А прошла она проверку? — спросил я.

— Проща. А что в результате? Записали ее на карточку и сказали, что будут иметь в виду. Так каждый раз. Задают разные вопросы, а потом спрашивают, есть ли у нее опыт работы с машинами, а когда она говорит, что нет, записывают, и все. А откуда, скажи на милость, у черной девушки опыт работы с этими машинами, которых она раньше и видеть-то не видела?

Я не нашелся, что ответить, и она развела руками.

* На жаргоне нью-йоркских негров: небольшая, относительно зажиточная часть Гарлема.

— Вот так-то, брат, куда ни сунься, все одно. Кое-кто достает работу, но таких мало.

— Так оно только в Нью-Йорке, в других местах намного лучше,— сказал я.

— Это я слышала. Была бы я помоложе, взяла бы да и подалась с детьми в Нью-Джерси или в Коннектикут. Там кое-где, говорят, для цветных есть работа. Или даже на Юг. Только там свои неприятности. И не хочу я, чтоб мои дети там росли. Нет уж! Я-то свое хлебнула, пока была девчонкой...

— Кому-нибудь из ваших друзей удалось найти работу через КОСТ*?

Она подумала.

— Нет, сынок. Этот комитет, кажется, повсюду действует, но только не в Нью-Йорке. Оттого-то нам, видно, так плохо — а что плохо, вы и сами знаете, ведь вы цветной.

На кухне загремели посудой, и на ее лице вдруг вспыхнул гнев.

— Вот возьмите Уильяма — сына моей сестры. Господи, упокой его душу. Мальчик занимался в технической школе, изучал там всякие машины. Так выучился, что мог любую машину разобрать, исправить и опять собрать. Прямо помешался на этой технике! А был смысленный мальчишка, вообще хороший парень. И в школе учился на отлично. Так вот, пошел он наниматься на военный завод, а его не взяли — потому что цветной, прямо так ему и сказали!

Она остановилась, чтобы перевести дух; щеки ее пылали. У нее над головой картинка из календаря: негритянская мадонна и ребенок с бликами на волосах.

— Ну, как он получил отказ, люди посоветовали обратиться в КОСТ. Он-то обратился, но у них там столько дел и надо так долго ждать, что Уильям все бросил и пошел в торговый флот. Бедному мальчику так все опротивело, что он бы и в армию подался, только у его матери еще два малыша, как у меня. Вот он и стал плавать на корабле — деньги хорошие, что и говорить, матери здорово помогал. Только недол-

* Комитет по обеспечению справедливого трудоустройства.

го он проплавал — нарвались на подлодку, ну и потопили их.

Ее взгляд обратился к окну. Подоконник заставлен цветочными горшками: зеленые заросли медленно превращаются в силуэты на фоне сумерек за окном. Вьющиеся растения: английский плющ и другие; в стеклянной банке — картофельные стебли, опоясавшие деревянный крест, и паутина корней, жадно распластавшихся по стеклянной стенке. Один красный цветок, возвышающийся над остальными, и в углу — кукуруза: листья-линки, кажется, вот-вот достанут до потолка.

Темнело, и в ее голосе зазвучала та отрешенность, что выдает недавнее горе.

— Вчера было четыре месяца, как это случилось. Такой был молодец наш Уильям. Его все любили.

Умолкнув, она покачала головой и плотно сжала на груди руки. Потом с усилием сделала глоток.

— Тяжело об этом думать, — сказала она, вставая, чтобы включить еще лампу: я увидел под столом детскую модель аэроплана.

— Правда, приходили к сестре из его профсоюза, и цветные и белые. Знаете, — она наклонилась ко мне поближе, — все-таки приятно, когда они приходят, белые то есть, и предлагают помочь. Даже эти, из социального обеспечения, хоть и учат вас, как жить, но ведь и правда вроде как интересуются. Даром что не цветные. Мы вот цеплялись к Уильяму, что он все с белыми да с белыми, а эти и впрямь оказались настоящими друзьями.

Она исподлобья посмотрела на меня, словно сама боялась поверить в то, что сказала.

— Кое-кто из них пытается найти для сестры работу — что-нибудь в оборонной промышленности. Но я-то что говорю: грех, когда такой умница, как Уильям, должен гонять по морю, хотя сам он с детства бредил машинами.

— Но ведь торговый флот очень нужен на войне, — сказал я. — Там служат смелые парни, и мы им многим обязаны.

— Это ясно. Только я о другом. На корабле ему дали такую работу, что любой сгодится. Чтобы на стол подавать,

только и нужно что чистые ногти! На стол подавать — это Уильям-то! Ведь он мог дело делать! Видите приемник? Так вот, это Уильям смастерил. Такие, милый, в магазине не продаются, хоть он и смотрится, будто из магазина. Уильям собрал его для малышей. Все, кроме корпуса, сделал своими руками; даже Кубу и Мексику слушать можно. Во какой был парень! Иной раз подумаю и так разозлюсь, прямо не знаю, что и делать. Ему бы быть сейчас здесь, помогать бы матери да братишке с сестренкой. Но что сделаешь? Вот ты, сынок, образованный, хотя и негр, учился в колледже и все такое. Ты мне скажи, *что же нам делать?* — Она с минуту помолчала. — Я — цветная женщина. Наша сестра многое вынесет. Утром по холоду в метро, потом весь день у плиты на чужой кухне — это я все могу, но теперь такое кругом творится, что я уж и не знаю, как быть. Сначала сын сестры, потом и моего Уилбера забрали в Форт-Брэгг. Поверишь, боюсь даже читать его письма, такие там иногда ужасы! Боюсь даже открывать письма, которые приходят из военного министерства — по поводу страховки и так далее, — потому что каждый раз думаю, а вдруг пишут, что эти белые моего Уилбера искалечили или того хуже. Бывает, так разволнуюсь, все из рук валится. Раньше иногда молилась, да от молитв толку мало. И потом, как говорили эти, из профсоюза, когда мы все убивались из-за Уильяма, сейчас надо воевать с большим Гитлером, хотя у нас тут и своих маленьких гитлеров хватает. Скорее бы уж послали Уилбера за границу, может, тогда я хоть чуть-чуть успокоюсь. Господи, — она вздохнула, — если бы все не так серьезно, я, честное слово, сама бы над собой посмеялась!

Она улыбнулась, лицо ее стало не таким напряженным. Откинувшись на спинку дивана, она рассмеялась, потом снова посерьезнела.

— Вообще-то, сынок, тут смеяться нечему. А если и смеешься, то смех этот нечестный, нехороший. Все равно как этот сумасшедший старик, что вечно бегаёт по нашей улице. Знаешь его, все кричит вслед машинам и рукой машет, будто гранаты бросает?

— Конечно, я его частенько вижу.

— Ну, ясное дело. Так вот, я раньше все смеялась над ним — сам знаешь, как оно бывает, вроде и жалко его, а все равно смеешься. Говорят, это он с прошлой войны такой. Теперь-то я его лучше понимаю. Хоть у меня в ушах гранаты не рвутся, как у этого бедолаги, но так иной раз муторно станет, что впору самой по улицам бегать да вопить.

— У него контузия,— сказал я,— иногда он ведет себя вполне нормально, я сам видел.

— Вот как? А я все думаю, как это его до сих пор машина не сбила. Иногда прямо под колеса лезет, но потом ловко так отскочит. Я слышала, один прохожий сказал: «Господи, если б у этого психа были настоящие гранаты, то в Гарлеме ни одной машины бы не осталось!»

Мы посмеялись, и я собрался уходить.

— Прости, сынок, что я сегодня такая мрачная. Уж так на душе наболело, не могу не говорить. Да ты и сам просил рассказать, что я думаю.

Она проводила меня до двери. Уже стемнело и зажглись фонари. С улицы доносились крики детей, недавно вернувшихся из школы.

Она поежилась.

— Уже зябко. Как будет этой зимой с углем и керосином, не знаю. В наших клетушках иной раз так продрогнешь. Верно?

Я кивнул.

— Моя знакомая с месяц тому назад переехала на Амстердам авеню и все спрашивает, почему я не уеду из Гарлема. А я ей говорю, дело-то бесполезное, потому что где нам только дадут поселиться, там будет точно такой же Гарлем. Я довольно по свету побродила, чтоб это понять. Так вот!

Она покачала головой.

— Гарлем, он как в старой песне поется:

*Такой высокий, что через него не перелезть,
Такой низкий, что под ним не проползти,
Такой широкий, что его не обойти...*

Вот такие дела. Ну, прощай, сынок.

Шагая по темной улице, я вспомнил продолжение песни:

Есть один только путь — через калитку жизни...

Вот вам портрет миссис Джексон. «Такие дела» не только у нее, но у многих, кто, как она, ищет заветную калитку свободы. В самую ткань их жизни вплетены смятение и растерянность, рожденные войной. Как преодолеть эту растерянность: перелезть, проползти, обойти или прорваться напролом? Они не просят, чтобы их бремя было легче того, что легло на плечи других американцев. Но они хотят, чтобы у них были такие же, как у других, основания верить в осмысленность своих жертв, они жаждут сбросить тяжесть обид, накопленных еще задолго до войны.

Поскольку и в обычные времена их лишения куда больше, чем те, что вся Америка переживает сегодня из-за войны, им нелегко — психологически и эмоционально — отдавать все внимание войне. Для них борьба за существование — та же война. Положение таких, как миссис Джексон из Гарлема, — лучший аргумент в пользу стабилизации цен и замораживания квартплаты. Ведь двадцать пять процентов тех, кто еще получает государственную помощь, живут среди наших пяти процентов нью-йоркского населения. Миссис Джексон все труднее прокормить детей. Покупая продукты, она переплачивает шесть центов плюс к каждому доллару по сравнению с хозяйками других районов города с близким уровнем доходов. С приближением зимы Гарлем ждут новые испытания: топлива не хватает, а квартиры здесь старые, плохие, и высок процент смертности от туберкулеза.

Все это не новость. Возьмите любой аспект городской жизни в нашем демократическом обществе, и самую мрачную картину вы найдете в Гарлеме. Жилье у нас самое жалкое, а квартплата самая высокая. Болеют у нас много, а в нашей больнице вечно нет свободных мест и не хватает врачей. Мы больше всех страдаем от безработицы, а продукты у нас самые дорогие. Нашу преступность легко понять и не слишком трудно устранить, а полицейские, навязанные

нам,— самые жестокие. Мы, как никто, горим желанием избавить мир от фашизма, но нам в этом препятствуют самым беспардонным образом. У нас колоссальная потребность относиться к войне как к борьбе между демократией и фашизмом и громадное искушение видеть ее лишь как расовую войну. Для нас нет ничего притягательнее, чем вера в «век простого человека», но душу нам разъедает подозрение, что это все не для нас (этот список — отнюдь не уитменовское прославление демократии, хотя нам больше всего на свете хотелось бы, чтоб он был таковым). Вот такие дела.

Многие соседи миссис Джексон вступают в борьбу за замораживание квартплаты и расширение полномочий КОСТ ради негров и всех прочих американцев. Сама жизнь побуждает их поддерживать программу стабилизации, выдвинутую президентом. Они должны победить: необходимость их победы диктуется самой сутью демократии. Такие, как миссис Джексон, не могут идти на жертвы ради большой войны, пока условия их жизни, среда, в которой они существуют, ведут непрестанную войну против них. И эту проблему не решить пропагандой. Моральный дух складывается из реальности, а не из одних только слов. Нужны конкретные действия, пока растерянность и раздражение не превратились в гнев, пока отвращение и ненависть не заставили людей отвернуться от войны (такая опасность существует!). Жизнь миссис Джексон необходимо наполнить реальным демократическим содержанием, лишь тогда будет порядок в ее мыслях и чувствах. Такие дела.

Скрытое имя, нелегкий удел

Что значит быть писателем в Соединенных Штатах

В «Зеленых холмах Африки» Эрнест Хемингуэй напоминает нам, что Толстой и Стендаль побывали на войне, Флобер пережил революцию и Коммуну, а Достоевский был сослан

в Сибирь на каторгу и что такой опыт оказался важен, отточив дарование этих великих мастеров. А дальше он пишет, что «писателей закаляет несчастье, как в огне закаляется меч». Каким именно бывает для каждого несчастье в этом хаотичном мире, он не описывает, — да и кому, кроме безумца, такое могло бы прийти в голову? — не говорит он и о тех травмах, которые всем этим писателям причинили подобные испытания. Ну что же, благодаря его брату и сестре мы теперь кое-что знаем о несчастьях, в которых закалялся он сам, и оттого лучше стали понимать давно нам уже знакомого писателя Хемингуэя.

В конечном счете всего важнее, разумеется, писатель и его искусство. Ведь войны и революции, которые ему выпало пережить, личные и общественные беды, им испытанные, — все это притягивает нас оттого, что есть искусство Хемингуэя, придавшее этому опыту непреходящий смысл. Иронизируйте по этому поводу сколько угодно, и тем не менее для литературы крутые социальные потрясения, создающие историю, точно так же как и болезненный опыт личности, существенны только в том своем значении, которое они приобретают благодаря искусству, таланту, воображению и индивидуальному видению писателя, преображающего жизнь в художественный факт. Вот тогда события обретают свой лад и в них высвечиваются человеческие ценности; а несправедливости и катастрофы тогда становятся сами по себе не столь важны, как то, что создает из них писатель. Исключение тут только одно, и это исключение — вечная борьба писателя с ангелом-бунтарем, чье имя Искусство; в этой-то незримой борьбе Эрнест Хемингуэй и стал ХЕМИНГУЭЕМ (тем, кто, сорок лет бесконечно анализируя, отбрасывая и восстанавливая всевозможные стили, темы, мироощущения и литературные приемы, взятые у множества других писателей, продолжая это делать и по сей день, в итоге создал завершенные произведения, над которыми время не властно). Да, в этой вот борьбе с формой он и стал мастером, феноменом культуры, художником, которого мы знаем и которым восхищаемся.

Решили, что будет интересно, если я сегодня изложу какие-то свои представления о том, что значит быть писателем в Соединенных Штатах, и я вспомнил о Хемингуэе вовсе не с целью глубокомысленных сопоставлений, но лишь для того, чтобы сразу установить точку отсчета, свое понимание вещей и, кроме того, стараясь не докучать теми рассуждениями о трудностях из-за расовой принадлежности, которые вот уже лет сорок непременно поминаются всякий раз, когда писатели одинаковой со мной культуры пытаются поделиться своим опытом.

Я не хочу тем самым полностью отвергнуть обоснованность подобных сетований, ставших в каком-то отношении обязательными, ибо ведь я и сам пережил, да и по-прежнему переживаю, все эти специфические несправедливости, — разве возможно для негра их избежать? — я только хочу сказать, что, если мы толкуем о писательском труде, о художнике, это не имеет прямого отношения к сути дела.

Ибо мы ведь не выбираем себе ни родителей, ни расу, ни страну, все это нам достается как итог судьбы других, итог их жизненных обстоятельств, их любви, их ненависти. А писателями мы становимся сами, это акт нашей воли, это наш выбор — неосознанный, странный выбор, о котором мы, возможно, не раз пожалеем, и все же выбор. И происходящее впоследствии придает всему тому, что было, пока мы еще не сделали писателями, особую мету единственности. Коль скоро происходившее не воплотилось в том, что мы пишем, оно как бы и не происходило. Коль скоро мы не можем осознать происходившее, упорядочив его в формах и образах, которые сами по себе ему не присущи, мы ничего не стоим как художники.

А стало быть, если писатель полагает, будто перенесенные лично им страдания как-то особенно важны, хотя бы по той причине, что он принадлежит к особой расовой или религиозной общности, он попросту требует для себя привилегий, каких постыдились бы требовать другие члены той же общности, писателями не являющиеся. Самое мягкое, что можно сказать о такого рода претензиях, сведется к тому, что они

основываются на прискорбном непонимании подлинных отношений, связывающих страдание и творчество. Об этом много писали Томас Манн и Андре Жид, а критик Эдмунд Уилсон создал целую теорию, согласно которой выпущенная из лука стрела и нанесенная ею рана — это вещи одного ряда.

По-моему, писатель тот, кто умеет воплощать свой личный опыт в художественных формах — в пьесах, стихах, романах — и, постигая эти формы, помогает осмыслить опыт не только свой, но и всей общности. А истинная жизнь писателя как художника состоит в овладении творческой дисциплиной, навыками, упорством, культурой, без чего все это невозможно. Если кому-то покажется, что тем самым я призываю писателя отойти от общественной борьбы, пусть вдумаются вот в эти слова У. Х. Одена*: «В наш век сам акт создания художественного произведения есть акт политический. Пока существуют художники, создающие то, что они стремятся и считают нужным создать, пусть даже достигнут они немногого и окажутся интересны какой-то крохотной горстке людей, само их существование будет напоминать Правящим о том, что им необходимо напоминать снова и снова, — о том, что управляемые — это люди со своими судьбами, а не какие-то безличные единицы, и что *Homo laborans* есть и *Homo ludens*»**.

Нет никакого сомнения в том, что даже самые «завербованные» писатели — я говорю о подлинных писателях, не о тех, кто как писатель не состоялся, — начинают с игры, с изумления перед жизнью, перед каждым ликом того мира, в котором они осознают свое призвание.

Попробуем уподобить мир Смолянскому пугалу, этому загадочному образу негритянского фольклора. Вот оно стоит,

* Оден Уистон Хью (1907—1973) — английский поэт, в 30-е годы близкий к демократическому движению. После второй мировой войны принял подданство США. В его позднем творчестве звучат религиозно-мистические мотивы.

** «Человек трудящийся», «человек играющий» — терминология философов и социологов, близких к контркультуре 60-х годов.

черное и блестящее под солнцем, словно бы кто-то его при-слонил к дверям, ведущим в реальность, и сколько мы его ни разглядывай, сколько ни вопрошай, оно остается недвижимым и безучастным ко всем нашим наивным попыткам угроз и шантажа. Но вот мы попробовали с ним поиграть и не успели еще выговорить: «Лови меня, Сонни Листон!*

» — а оно уже что есть силы хлопнуло нас по плечу. Мы в ловушке, наша игра оказалась тяжелой работой, изнурительной борьбой, раздором. И теперь-то мы понимаем, что не вырвемся, пока не найдем для этого верного способа, иначе сказать, не научимся, как это можно сделать.

Над этим мы и ломаем себе голову, расспрашиваем нашего стража самыми хитроумными приемами, пускаемся на всевозможные хитрости, чтобы его обмануть, но страж хранит молчание, стискивая нас все крепче, и ждет, что мы наконец-то уразумеем: надо его назвать настоящим именем, — вот она, цена нашей свободы. Какая жалость, что этих «настоящих имен» у него великое множество и все они означают только одно — хаос; но чтобы постичь хоть какое-то из них, сначала мы должны осознать те подлинные имена, которые принадлежат нам самим. Ведь это имя, и ничто другое, прежде всего определяет наше место в мире. А значит, имена, которые мы получаем в дар от других, должны стать действительно нашим достоянием.

Как-то я видел двухлетнюю девочку, поглощенную игрой и не замечавшую, что за ней наблюдают. Она все время повторяла одну и ту же фразу, то словно бы спрашивая сама себя, то себе отвечая с явным удовольствием: «Значит, я Мими Лайвси?.. Да, я точно Мими Лайвси. Мими Лайвси — это я... Да-да, я Ми-ми Лайв-си! Вот-вот, Мими...»

Она и в самом деле ею была — ну, во всяком случае, она вскоре ею стала, потому что, играя, она нашла полное единство между собой и своим именем.

Для многих из нас это не так просто сделать. Нам приходится учиться собственным именам, которые мы должны носить вопреки всей сумятице мира, в котором живем; мы

* Известный негритянский боксер-профессионал 50-х годов.

должны сделать так, чтобы имя стало для нас важнейшей связью и с жизнью, и с людьми, и с природой. Нужно, чтобы имя вобрало в себя все наши переживания, и надежды, и ненависть, и любовь, и мечту. Пусть станет оно нашей маской и нашим щитом, пусть воплотит в себе все ценности, все традиции, которые мы усваиваем и почитаем — может быть, впрочем, и ошибочно — сущностью прошлого, доставшегося всем нам в удел.

А когда нам раз за разом все на свете напоминает, что, будучи неграми, мы носим имена, изначально принадлежавшие тем, кто владел нашими предками-рабами, как же нам — и особенно тем, кто наделен писательским даром, — не оказаться повышенно чувствительными к событиям скрываемым и загадочным, к потаенным любовным связям, к совокуплениям, оставшимся секретом для всех, к коммерческим сделкам, к нарушениям норм и верований, к насилиям, ко всем не признававшимся и не желавшим признания человеческим контактам, благодаря которым дошли до нас наши имена.

И до того обострена у некоторых из нас эта чувствительность, что были примеры, когда люди пытались отказаться от своих имен, тем самым отказываясь и от запятнанных кровью, жестоких, греховных образов прошлого, — так когда-то поступали последователи «Отца Небесного», так в наше время поступают «Черные мусульмане»*. Они думали, что тем самым утвердят свою новую личность, укрепятся в новых и чистых верованиях и уничтожат донесенную именем память об осознанном, превратившемся в обычай разделении контактов физических и человеческих контактов.

Но далеко не все из нас, а точнее сказать, только немногие относились к своим именам вот так. Мы принимаем то, чего не принять нельзя, и стараемся сделать принятое имя своим, насколько можем. Есть среди нас даже и такие, кто умеет распознать давно прервавшиеся связи и, вопреки разрывам,

* Религиозно-националистические организации «Секта Отца Небесного» и «Черные мусульмане» выдвигают программу расовой сегрегации и кастовой замкнутости черной Америки.

созданным историей, вопреки возводимым обществом искусственным барьерам, находит этих дальних своих родичей, самих себя воспринимая наследниками качеств, замечательных в их первоистоках и проявлениях среди обыденной жизни (о подобных людях много писал Фолкнер); я говорю не о всепрощении, не о покорном безразличии к злу, которое воплощала собой система разделенности и непризнания, я говорю о способности принять удел человеческий во всей его грубой реальности и о понимании всей той лжи и двуличности, какие сопутствовали нашему историческому опыту в Соединенных Штатах.

Быть может, европейские эти имена, по сути, все же знаменуют для нас победу духа, ибо как ни относиться к ним — с иронией или с гордостью, — они обязательно таят в себе личностное значение и напоминают нам о предках, умевших сплотиться, выстоять, преобразить самих себя, отказывавшихся просто исчезнуть с лица земли, хотя все окружающее вело как раз к этому. Вот что я как-то услышал из уст вдохновенного негритянского проповедника: «Братья и сестры, да будет мужественным наш взгляд, обращенный к миру, и тогда повсюду с почтением будут произносить наши имена! Ведь *истинное* наше имя — это мы сами, а не то, как нас величают! Да, пусть мужественны будут наш взгляд и наша душа!»

Как знать, возможно, этот проповедник читал Т. С. Элиота, хоть я в этом и сомневаюсь. Да и необязательно ему было читать Элиота, ведь такая одержимость именем и названием чрезвычайно свойственна как раз той американской культуре, к которой принадлежу и я сам, оттого-то мне и вспомнился призыв проповедника, когда я размышляю о собственном писательском опыте.

Нет сомнения в том, что *бытие* писателя как человека, обрученного со словом и владеющего словом, начинается задолго до того, как приходит знание о литературе, — кто-нибудь из фрейдистов заметил бы сейчас, что оно начинается еще у материнской груди. Что же, может, и у груди. Правда, в эту пору проку от писателя немного, но это не так

существенно. Убежден же я вот в чем: хотя многие педагоги, знающие, как трудно даются навыки чтения большинству негритянских ребятишек, обучающихся в школах на Севере, полагают, будто тут все дело в наследии Юга, но как раз на Юге, у себя дома, эти ребятишки выказывают в обращении со словом удивительную ловкость. И еще я знаю, что в негритянской среде всегда была развита способность изобретать убийственно точные прозвища да и вообще находить какие-то смешные слова, сразу же обнажающие любую нелепость человеческого поведения. Имена — это не какие-то определенные свойства, да и слова в этом отношении еще отнюдь не действия. Будь это не так, наша жизнь что ни день много раз оказывалась бы под угрозой. Выразительность языка в большой степени зависит от знания особых черточек жизни, особых привычек, нравов, понятий, психологических качеств, отличающих вот именно эту, а не другую среду. И то же самое можно сказать о юморе, об иронии, о выразительности — богатстве значений, каким обладает имя.

Мой друг Альберт Мэррей говорит, что «низкорослый, кривоногий, шоколадного цвета негр, которого зовут Франклин Делано Рузвельт Джонс, человеку постороннему покажется просто клоуном, но ведь в своем кругу он может предстать прямо-таки ловкачом из ловкачей. Он-то прекрасно понимает, как комично звучит его имя и что можно из него извлечь, и он от вас добьется всего, что ему нужно, а вы и не заметите, каким образом, потому что у вас перед глазами все будет маячить образ Рузвельта, которого тут, понятно, быть не может, но ведь дело-то придется иметь с Джонсом, а к этому вы не готовы, потому что ослеплены своим мнимым превосходством».

Вы уже, конечно, догадались, что неспроста я так подробно рассуждаю об именах, а поскольку для моего писательского опыта это важно, пора мне с должной иронией поговорить и о собственном имени.

Ведь еще в те очень далекие времена, когда я и не задумывался о писательстве, имя мое уже существовало, а в этом имени, безусловно, была какая-то магия. Меня оно с самого

начала тревожило и в детстве доставляло мне много беспокойства. Я не мог уразуметь, кто такой поэт, как не мог уразуметь и другого — зачем отец назвал меня в честь поэта. Наверно, я бы не нашел ничего странного, если бы он меня назвал в честь своего собственного отца, но так назвали старшего брата, который уже умер, поэтому о повторении не могло быть речи. Но почему бы ему было не назвать меня в честь какого-нибудь героя, ну, скажем, Джека Джонсона*, или в честь военного, такого, как полковник Чарльз Янг, или в честь адмирала Дьюи**, в честь Букера Вашингтона, прославившегося на ниве образования, в честь Фредерика Дугласа***, выдающегося оратора и аболициониста? Наконец, почему он не назвал меня, как поступали во многих негритянских семьях, Тедди Рузвельтом, в честь президента?

Он же решил назвать меня в честь некоего Ральфа Уолдо Эмерсона****, а когда мне было всего три года, отец умер. Я был слишком мал, чтобы догадаться о причинах, склонивших его к такому имени, хотя он, наверно, не раз их объяснял; пока что мне еще не могло прийти в голову, что мое имя как-то связано с пристрастием отца к книгам. Лишь много лет спустя, когда я сам начал писать и, значит, работать над словом, я понял, что отец знал о способности имен вызывать различные ассоциации и о той магии, какую таит в себе сам акт называния.

Вспоминается случайный разговор с моей матерью, когда я был подростком: среди прочего она упомянула об интересе,

* Джонсон Джек (1847—1946) — боксер-негр, чемпион мира в тяжелом весе.

** Дьюи Джордж (1837—1917) — главнокомандующий флотом США во время испано-американской войны 1898 года.

*** Дуглас Фредерик (1817—1895) — американский аболиционист, революционный демократ, публицист.

**** Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский философ и писатель.

с каким и она и отец относились — подумайте только! — к проблемам культурных генов. Но это было уже впоследствии, а пока я знал только о том, что отец много читал и что этот мистер Эмерсон, именуемый «поэтом и философом», приводил его в восторг — он даже назвал в его честь своего второго сына.

И еще я знал, что какими бы ни были его мотивы, имя, которое он для меня выбрал, причиняло мне бесконечные страдания с той самой минуты, как я выучился говорить достаточно хорошо для того, чтобы как-то ответить на этот всегдашний вопрос взрослых к ребенку: «А как тебя зовут, мальчик?» Об Эмерсоне кое-что слышали многие негры в Оклахоме той поры, когда мы вот-вот должны были вступить в первую мировую войну, и взрослые, желая показать, как хорошо они осведомлены в истории литературы, непременно прибавляли вслед за первыми двумя моими именами, приводя меня всякий раз в бешенство: «Ах, Эмерсон» — их явно забавляло, что этот черный карапуз щеголяет столь звучным прозванием.

А я, подавляя смущение и злость, отвечал: «Да нет же, я не Эмерсон, Эмерсоном зовут вон того мальчика из соседнего двора». Это обязательно вызывало новый взрыв смеха: «Ну зачем же ты отрекаешься, ведь ты самый настоящий Ральф Уолдо Эмерсон» — и мне оставалось лишь замолчать да предаться фантазиям, в которых я готов был передуть их всех до одного.

По соседству и впрямь жил мальчик, которого звали Эмерсон, и это помогало мне не слишком докучать себе мыслями, отчего взрослые такие непонятливые. А поскольку у нас в городе были и другие негритянские ребята по имени Ральф, я начал смутно догадываться, что в самом сочетании имен есть что-то такое, что вызывает смех. Даже и теперь я могу припомнить лишь еще одного Ральфа, чье имя так часто становилось поводом для шуток,— я знал его, когда учился в Таскиги, он был в нашей студенческой компании вожаком и любил произносить длинные речи, тем более что обладал густым, низким голосом; фамилия его была Поу, а мы в сво-

ем кругу называли его Ральф Уолдо Эмерсон Эдгар Аллан По. Должно быть, ему это не раз становилось неприятно, но я-то узнал такие муки куда раньше, чем он.

В школе мое имя поначалу тоже причиняло мне неудобства, так как по выражению лиц моих товарищей я чувствовал, что с ним сопряжена какая-то тайна. Словно бы я обладал не то сокровищем, не то пороком, для меня самого остававшимся незримым, — это у меня было, но я этим не *владел*, как той собственностью в Южной Каролине, которую записали на мое имя, оговорив, что до известного возраста я не могу вступить в права владения. Помню, как раз в ту пору я, вечно шатавшийся в поисках приключений по задворкам, для мальчишек куда более притягательным, чем игровые площадки, точно так же как малышей кухонная утварь интересует сильнее, чем любые игрушки, однажды нашел на свалке объектив от большого фотоаппарата. Ничего не могу теперь сказать ни о его оптических достоинствах, ни о диафрагме и резкости, но для меня это было какое-то хрустальное чудо, и я считал, что этот объектив прекрасен.

Он был оправлен в блестящую латунь, и передо мной он открыл целые фантастические миры. Я играл этим объективом, смотрел через него, скашивая до боли глаза, я собирал в него солнечные лучи и пытался его превратить в волшебный фонарь. Обычно из этих затей ничего не выходило, как и из моих попыток заставить грампластинку звучать, водя по ней иголкой, зажатой в пальцах.

Объективом можно было прожигать дыры в газетном листе, можно было вообразить, что это телескоп, или ствол пушки, или третий глаз чудовища — а чудовище, конечно, я сам, — но делать то, для чего он предназначен, делать снимки я им не мог и не мог понять, в чем здесь секрет. И все же я не хотел его выбросить.

Мальчики постарше пытались выменять у меня этот объектив, предлагая за него бумажных змеев и разные крышки, мраморные шарики и целые коллекции ящериц и рогатых жаб, но я отказывался. Ни у кого, даже у моих знакомых белых ребят не было похожего объектива, мне так повезло, что

я его нашел. Ну, так буду его хранить, пока не куплю всего прочего, чтобы получился фотоаппарат. Кончилось тем, что я его положил в коробку, где хранились все мои сокровища, и там он пылился, пока я вовсе не позабыл о его существовании, с возрастом начиная все больше увлекаться музыкой.

Теперь я уже учился в старших классах, и нужно было получше познакомиться с мистером Эмерсоном, с его писаниями — с «Конкордским гимном», с эссе «Доверие к себе»; вняв его совету, я сократил в своем имени Уолдо до простого и, как мне казалось, не лишеного таинственности У., а книг его избегал, страшась их как чумы. Совладать со своим именем, которое, наверно, навеки останется для меня неодолимой преградой, я смог не лучше, чем заставить тот объектив послужить искусству. К счастью, меня уже занимали другие вещи. Нет, я не избавился от собственной зачарованности именами, но об этом потом.

В Оклахома-Сити писателей-негров не было вообще, это обращало на себя внимание. Был только Роско Данджи, редактор местной негритянской газеты, писавший очень хорошие передовицы и владевший замечательным даром сохранять в них свою индивидуальность, — теперь этот навык быстро исчезает; он все снова и снова указывал на те возможности, которые создают для негров закон и конституция, и в этом смысле он на несколько десятилетий предвосхитил идеи движения против сегрегации. Еще было несколько репортеров, надолго у нас не задерживавшихся, но вот, пожалуй, и все. Что касается *собственно* культуры, то у нас в городе негритянская община отдавала предпочтение музыке.

Хочу напомнить, что тогда, в середине двадцатых да и к их концу, наш штат был еще новым штатом, почти фронтиром. Оклахома-Сити стал одним из главных центров джаза на Юге и Западе, таким же важным, как Канзас-Сити и Даллас. У нас часто выступали оркестры, которые вскоре прославились. Выступали и исполнители блюзов — Ма Рейни, Айда Кокс, выступали уже известные оркестры, например, джаз Кинга Оливера. А самое главное, стараниями миссис Цилии Н. Бро в школах была введена и с энтузиазмом осу-

ществлялась программа активного приобщения к музыке, так что любой ребенок, не лишенный дарования и интереса к музыке, мог выучиться игре на каком-нибудь инструменте и выступать в джазе, в симфоническом оркестре или в духовом квартете. Каждый год обязательно устраивались спектакли оперетты, выступления хора или музыкального клуба. В школе мы четыре года изучали основы композиции, а уроки восприятия музыки входили в нашу программу. Кроме того, во всех негритянских школах были уроки европейского народного танца, как и уроки, на которых нас обучали воинскому парадному строю.

Упоминаю обо всем этом, чтобы было ясно: хотя ничто у нас не располагало к занятиям литературой, выработать необходимую художнику дисциплину я мог — возможностей хватало. Ведь единожды прикоснувшись к музыкальному инструменту, уже трудно с ним распрощаться. Если бесконечные репетиции школьного оркестра или джаза начинали надоедать, если приходило желание присоединиться к какой-нибудь из многочисленных джазовых групп, быстро выяснялось, что джазисты репетируют еще больше, чем школьные оркестранты, просто они умеют извлекать из репетиций наслаждение, которого мы в школе не знали, и обладают свободой воображения, нам незнакомой. И еще выяснялось, что те минуты самозабвенной, захватывающей, незабываемой импровизации, которые выдавались и на «конкурсах оркестров», и просто на танцевальных вечерах, были бы невозможны без неукоснительной дисциплины, что соблюдалась всегда, даже если приходилось репетировать в тесном зальчике Холли Ричардсона, чистильщика обуви и владельца специального салона. Конечно, просторный зал с хорошей акустикой был бы лучше, но важно было не место, важно было желание добиться в своем деле наибольшего.

Все сказанное о дисциплине, какой требуют занятия музыкой, возможно, внушит кому-то мысль, будто меня, в конечном итоге, после многих блужданий и ошибок, избравшего писательское ремесло, ничто к такому выбору не склоняло; но это будет неверно. И тут я мог бы долго и простран-

но поговорить о Комедии и о Практике Сегрегации. В годы моего детства у нас в городе не было библиотеки для негров, и получили мы ее лишь после того, как один негритянский священник решил, что будет пользоваться городской библиотекой. Что же оказалось? — что нет закона, запрещающего нам использовать такие вот общественные учреждения, есть только заведенный обычай, по которому мы этого не делаем. А в результате для нас были тут же арендованы две комнаты в негритянской деловой конторе (там недавно размещался игровой зал), был нанят молодой негритянский библиотекарь, появились стеллажи во всю стену, и их тут же заставили книгами самого разнообразного содержания. На полках этой библиотеки, когда она открылась, царил полный литературный хаос.

А чего еще желать подростку, читающему запоем! Я начал со сборников сказок и быстро овладел всей детской литературой; потом пошли вестерны и детективы, и вот я уже читаю классику — только я еще не знал, что это классика. Были там и справочники Холдемана Джулиуса, словно бы доставленные в нашу библиотеку напрямиком из Джирарда в Канзасе; были информационные материалы агентства О. О. Макинтайра; были, кроме всего прочего, номера «Вэни-ти фэр» и «Литерари дайджест», которые приносила с работы моя мать, — мне ли безоглядно присоединяться к яростным нападкам на так называемые «средства массовой информации», ставшим теперь заурядным делом!

А еще были неприятзательные журнальчики и — это существеннее — была и другая библиотека, куда я стал наведываться, когда начал помогать моему деду по отчиму Дж. Д. Рэндольфу (родители жили в принадлежавшем ему доме, там я и родился), — он состоял хранителем библиотеки законодательного собрания штата Оклахома. Мистер Рэндольф был среди первых учителей школы, ставшей потом городским колледжем Оклахомы, он был и одним из лидеров тех переселенцев, которые прошли пешком из Галлатина, штат Теннесси, на территорию Оклахомы. Был он высок ростом и темен, как выделанная кожа; он походил

на индейцев, с которыми в юные свои годы пас табуны.

И хотя числился он всего лишь хранителем библиотеки, я видел, как белые законодатели не раз у него справлялись по разным юридическим делам, а он обычно давал точную справку, даже не заглянув в книги, рядами стоявшие на полках. Это и само по себе вызывало удивление; белые удивлялись ему то и дело; но еще поразительнее, смешнее, непостижимее, причудливее — назовите это как угодно — было его имя; негр, знавший ответ на любые вопросы, был назван Дж. Д. — в честь Джефферсона Дэвиса*. То, чего лишился штат Теннесси, приобрела территория Оклахомы, а приобретя этот образец мужества, ума, непоколебимости и благородства, поспешила спрятать его подальше, прибегая к услугам Рэндольфа только тайком да и то, надо думать, с чувством неловкости.

Да, пусть мужественны будут наш взгляд и наша душа!

В том не слишком строго дифференцированном обществе, которое я запомнил с детства, всевозможная информация находила различными способами тех, кто в ней нуждался, и оседала там, где по своему качеству и должна была осесть, были ли это новости о том, как живут другие люди, или предания старины, или литературные новинки, наделавшие шуму, или литература другого рода — дышавшая ненавистью: я до сих пор храню открытку, в которой негров предупреждают, чтобы они не вздумали принять участие в выборах, одну из тысяч таких открыток, сброшенных с самолета, кружившего над негритянскими кварталами. Я не могу сказать, что дифференциации не было вовсе или что она оставалась неосознанной; во всяком случае, свои первые книжки из серии классиков, выпускаемой Гарвардским университетом — томики Шоу и Мопассана, — я читал у приятеля, чьи родители были порождением того просветительского поры-

* Джефферсон Дэвис (1808—1889) — американский политический деятель, возглавлял Конфедерацию мятежных штатов в годы Гражданской войны 1861—1865 гг. Штат Теннесси был оплотом Конфедерации.

ва, который охватил после Гражданской войны Новую Англию и передался неграм стараниями молодых, полных энтузиазма белых педагогов, работавших в школах для освобожденных рабов. Родители моего друга оба были учителями, и в нашем городе нашлось бы еще несколько таких же людей.

А богатая устная литература продолжала жить в других местах — ими были наши церкви, школьные двory, парикмахерские, лагеря сборщиков хлопка: вот где процветали фольклор и всевозможные рассказы. Закусочная, где работал я, тоже была таким местом, и в дождливые дни старики долго у нас засиживались, пыхтя трубками и соревнуясь друг с другом по части небылиц, охотничьих побасенок и переложенных на местный лад версий классических сюжетов. Вот здесь я и услышал рассказы о том, как ищут спрятанное сокровище и как является по ночам всадник без головы,— мне говорили, что когда-то давно истории эти в точности так же рассказывал мой отец. Здесь даже можно было услышать популярные у народа баллады вроде «Как стрелял Дэн Макгрю», а потом рассказы о Джесси Джеймсе и о других знаменитых негритянских преступниках, о неграх, ставших судебными исполнителями, и о рабах, сделавшихся вождями индейских племен, и о подвигах черных ковбоев. Истина и фантазия тут переплетались накрепко, а к ним примешивалась литература с ее таинственными законами.

В годы своего формирования писатель поглощает и усваивает многое, что начнет представлять для него ценность лишь гораздо позднее, а может, и вообще не будет иметь ценности, кроме той, что запомнившееся скрывает в себе страсть и таинственность, заключает какую-то образность, уловившую «и боль, и время, и величие души». Вот так было и со мной, и задолго до того, как я начал думать о писательстве, я уже был навсегда зачарован и сменой погоды, и ритмами речи, и специфическими выражениями, которыми она пестрит у негров, и глуховатыми голосами мужчин, и резкими, пронзительными интонациями, часто отличающими выговор негритянок, и музыкой, и гори-

зонтом, открывающимся перед глазами, и уличным закоулком, замыкающим весь горизонт, и фактом смерти, и фактом рождения, и разными обычаями, манерой держаться в обществе или поведением людей на улице, привычками людей, принадлежащих к обществу белых, и тех, кто принадлежит к нашему избранному обществу, а также теми привычками, которые накладывают отпечаток на межрасовые отношения; я был зачарован уличными драками, цирковыми представлениями, выступлениями бродячих негритянских певцов, спектаклями в дешевых театриках, фильмами, поединками боксеров, состязаниями скороходов, матчами бейсболистов и футболистов. И весенними паводками, метелями, червями на листьях катальпы, зайцами, жимолостью, цветами львиного зева — они пахнут, как старые окурки сигар, и подсолнухами, и штокрозами, и зарослями сахарного тростника, и печеными плодами ямса, и приготовленными под острым соусом ножками поросят, и голубым мороженым с соком боярышника. И парадами, и танцульками, и импровизациями джазистов, пасхальными службами ранним утром, похоронами, на которые собираются толпы людей. И проповедниками, старающимися друг друга превзойти, когда они расписывают адские муки, и стариками, сидящими на этих проповедях впереди всей паствы, чувствующими присутствие всевышнего и «смеющимися от счастья».

Меня восхищали мастера игры, заключающейся в том, чтобы особенно изощренно обругать родственников противника, и знаменитые подпольные торговцы кукурузным виски. Восхищали музыканты из джаза, и гадатели, и вообще люди, умеющие что-то делать по-настоящему хорошо; и странные заболевания, и шрамы от драк, когда идут в ход кирпичи, а то и бритвы, и те, кто ругается, демонстрируя превосходный запас таких выражений, точно так же как и проповедники с их умением возбуждать толпу, с их завываниями и запугиваниями, или исполнители блюзов, поющие и играющие так, что ты переносишься в какой-то другой мир. Я восторгался старухами, теми, кто

еще помнил времена рабства, и теми, кто держался вызывающе что с белыми, что с черными, и проститутками с их обольстительной походкой, и негритянскими проходимцами, живущими чем придется,— эти обычно носили шляпы «стетсон» и делали вид, что прихрамывают, и на них были дорогие башмаки, туго накрахмаленные хлопковые комбинезоны и рубашки без воротника, зато с брильянтовой заколкой, если ее еще не отнесли в ломбард,— профессиональный костюм игрока, да и только.

А еще были слепцы, проповедовавшие на шумных перекрестках, и другие слепцы, которые распевали блюзы под аккомпанемент гитары и стиральной доски; были белые наркоманы, которые любили песни, сложенные жителями гор, и особенно искусные продавцы фруктов и овощей.

И была особая среда, где перемешались негры с индейцами. Были негры, в чьих жилах текла индейская кровь,— такие успели пожить в резервациях, были индейцы, чьи дети, попав в города, жили вместе с неграми и как негры; негры превращались в индейцев и без всякого труда переходили из одной этнической группы в другую. А среди индейцев встречались неукротимые, как самые озлобленные негры, но бывали и такие, кто вел жизнь солидную и степенную, словно банкиры. Учителя тоже попадались разные: и вдохновлявшие, и скверные, пристававшие к ученицам, ну а среди учительниц находились и такие, что уж лучше бы они приставали к собственным ученикам. Был у нас директор колледжа, красивый старик, державшийся по-военному,— сокурсники по академии Вест-Пойнт пришли в негодование, выяснив накануне выпуска, что он негр. Были в нашем городе евреи, мексиканцы, повара-китайцы, немец, дирижировавший оркестром, и англичанин, державший бакалейную торговлю и обзаведшийся туристским автобусом марки «франклин». Были автомеханики-негры: Слим, по кличке Кадиллак, Костлявый Уокер, Бадди Бан, Оскар Питмен,— эти до такой степени слились с автомобилем, что казалось, они за рулем, даже когда просто идут по улице или танцуют с девушкой. И были белые:

одни относились к нам с презрением, другие делили с нами все невзгоды, все радости.

Было и многое другое, но хватит и того, что я упомянул,— не ясно ли, что даже и в сегрегированном обществе находилось достаточно самых разных явлений, которые и стали основой моего творчества, моего понимания жизни.

А теперь перейдем к следующему этапу. Я уехал в Таскиги с намерением изучать музыку и выучиться писать симфонии; там-то, на втором курсе, я прочел «Бесплодную землю»*, и это чтение, хотя я тогда так еще не думал, оказалось подлинным толчком, побудившим меня отдаться литературе.

В школе миссис Л. С. Макфарленд много рассказывала нам о негритянской истории, и от нее я впервые узнал, что в двадцатые годы было культурное движение черных, услышал о Ленгстоне Хьюзе, Каунти Каллене, Клоде Маккее, Джеймсе Уэлдоне Джонсоне и других**. Я гордился ими, они помогли мне по-настоящему понять поэзию (странно, но я теперь редко вспоминал о своем скрытом имени), и все же музыка владела мною настолько, что мне и в голову не пришло отправиться по их стопам. Но читал я их всех, и мне кружили голову образы Гарлема, созданные в их стихах, и было так хорошо сознавать, что существуют и негритянские писатели. А потом пришел черед «Бесплодной земли».

Тогда я находился под воздействием литературы в гораздо большей степени, чем мог себе представить. «Грозовой перевал» заставил меня пережить бурю чувств, которых я не мог выразить, и то же самое произошло, когда я читал «Джуда Незаметного»***, но по-настоящему меня захватила «Бесплодная земля». Я не понимал, отчего она

* Поэма Т. С. Элиота (1922).

** Поэты, участники движения так называемого «Гарлемского ренессанса», сыгравшего видную роль в подъеме негритянской культуры 20-х годов.

*** «Грозовой перевал» — роман английской писательницы Эмили Бронте (1847); «Джуд Незаметный» — роман Томаса Гарди (1896).

так меня влечет, хотя я и не могу проникнуть в смысл этих стихов. Почему-то ритмы этой поэмы порой больше напоминали о джазовой музыке, чем ритмика стихов негритянских поэтов, а ассоциации, которые она вызывала, были столь же сложными и прихотливыми, как у Луиса Армстронга, хотя тогда я этого еще не понимал. Мне еще не удавалось уловить ту скрытую логику и упорядоченность, которые проступают за всеми этими перебивками, за всеми перебоями темпа.

Делать было нечего, и я обратился к сноскам и примечаниям, которыми сопровождалась поэма,— так для меня началось сознательное постижение тайн литературы.

Библиотека в Таскиги предоставляла для этого достаточные возможности, которыми я воспользовался. Вскоре я одну за другой читал книги, посвященные самым разнообразным темам, затронутым у Элиота, и от критики перешел к Паунду, а потом к Форду Мэдоксу Форду, к Шервуду Андерсону и Гертруде Стайн, к Хемингуэю и Фицджеральду — «снова по кругу и снова по кругу», пока круг не привел меня к Мелвиллу и Твену — писателям, которых ныне изучают в университетах и даже слишком настойчиво изучают. Наверно, мне повезло в том смысле, что в Таскиги их не изучали, не знаю. Я, во всяком случае, был поглощен игрой, для меня это было пиршество интеллекта и прекрасное времяпрепровождение.

Я так долго штудировал принципы сочинения музыки, что для меня не составляло особой трудности проникнуть в секреты мастерства и в истинный смысл новой поэзии, современной прозы. Я не испытал при этом решительно никакого разочарования, потому что ни разу не испытал такого чувства, что надо напрягаться, как перед экзаменом. И пока я вникал в этот мир, началось то, о чем я уже говорил. Чем сознательнее делалось мое понимание литературы, тем заметнее менялось в моих глазах все то, на чем была сформирована моя личность. В запомнившихся разговорах мне теперь слышались оттенки и интонации, прежде от меня ускользнувшие, и наши местные

особенности приобретали универсальное значение, а ценности, каких я раньше не постигал, делались явными; кто-то из людей, которых я знал, утратил свою притягательность, другие, наоборот, ее получили. А самое важное, я начал лучше понимать собственные возможности и порой испытывал такую веру в себя, какой не знал прежде.

Следующим летом я отправился в Нью-Йорк на поиски работы, не нашел ее и остался в этом городе, но преобразование личности продолжалось и там. Чтение стало для меня осознанным постижением действительности и помогло мне расти, это был способ по-новому понять и упорядочить мир. А мой мир стал намного шире.

В Таскиги мне довелось держать в руках партитуры Прокофьева, подаренные им Хейзел Харрисон — негритянской пианистке, которая у нас преподавала; она познакомилась с композитором, когда гастролировала в Европе, и благодаря ей я узнал о прокофьевской симфонической музыке. Тогда же я узнал о радикальных движениях и в политике, и в искусстве, а в Нью-Йорке начал читать книги Андре Мальро — не только прозу, но и опубликованные к тому времени главы из его «Психологии искусства». Я старался отыскать произведения негритянских писателей, доносящие современное восприятие мира, и так набрел на Ричарда Райта. Вскоре мне удалось познакомиться с Райтом, и это ему обязан я тем, что написал и первую свою статью о литературе, и первую новеллу. Оказалось, что они станут моей судьбой.

Ведь хотя в Таскиги я пытался сочинять стихи, о том, чтобы писать прозу, я и не думал, пока меня не надоумил Райт, и тут оказалось, что ничего естественнее быть просто не может. К моему счастью, Райт, стоявший на пороге славы, охотно возился со мной, новичком, и поэтому мне не пришлось тратить драгоценное время, отыскивая книги, в которых говорилось об искусстве писательства. Райт указал мне такие книги: сборники предисловий Генри Джеймса, статьи Конрада и Джеймса Уоррена Бича*,

* Бич Джеймс Уоррен (1880—1963) — американский критик.

письма Достоевского. Были у меня, конечно, и другие консультанты, были другие книги, но не это важно, суть в том, что едва ли не с самого начала я стал серьезно изучать искусство прозы и осознанно старался овладеть тайнами ремесла, в котором хотел выразить себя. Причем все это происходило не в кабинетном уединении: шла гражданская война в Испании, еще не завершился экономический кризис. Мир трясло, а мне, юному провинциалу, очутившемуся в Нью-Йорке, выпала одна из необъяснимых удач, подчас уготованных таким юнцам: на концерте, когда я впервые услышал исполнителя народных песен Лидбелли, выступил Мальро с призывом о помощи испанским республиканцам. Райт и я были в этом зале, мы пытались собрать средства для журнала, который он намерен был издавать, для чего и приехал в Нью-Йорк.

Искусство рядом с политикой — представьте это себе реально: выдающийся французский романист и негритянский певец, молодой писатель, который вскоре выпустит «Детей дяди Тома», и я, только-только начавший у него учиться. Такие вот случайности, такие счастливые совпадения и значат в нашей жизни всего больше. Я и не мечтал когда-нибудь увидеть Мальро, о чьем существовании узнал буквально на второй день после приезда в Нью-Йорк, в Гарлем: Ленгстон Хьюз предложил мне прочесть «Удел человеческий» и «Годы презрения»*, только побыстрее, потому что книги надо было возвращать владельцу. И наверно, это вот счастливое стечение обстоятельств побудило меня назвать Мальро своим «предшественником» — ведь художнику дано свободно выбирать таких предшественников, хотя родственников выбирать не может и он. В ту пору на каждом углу говорили о юношах Скотсборо и о деле Херндона**, и меня это волновало так же, как и всех. Да и как иначе? — ведь всего три года назад по пути

* Романы А. Мальро.

** В Скотсборо (штат Алабама) были невинно осуждены девять юношей-негров; Анджело Херндон, негр-коммунист из Джорджии, был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

в Таскиги я сам был изгнан из вагона товарняка в Декатуре, штат Алабама. И я тоже требовал освобождения невиновных, но главным моим делом все же было другое — я учился писать.

Печататься я начал довольно быстро и печатал достаточно, чтобы не угасли мои надежды на успех, но чем больше работал, тем с большей несомненностью убеждался вот в чем: сколько ни заботиться о технике повествования, произведение не столько создается писателем, сколько само создает писателя. Иначе сказать, когда пишешь, невозможен никакой произвол. И утверждая, что произведение само создает писателя, я хочу лишь подчеркнуть, что техника повествования — это не просто набор безотказно работающих приемов, это нечто куда более интимное: это особое чувствование, особое видение, особое умение выразить свой взгляд на жизнь. И пока учишься технике, изменяешь и собственное восприятие, учишься иначе видеть и чувствовать, слышать и наблюдать, вызывать в себе и по-новому оценивать образы памяти, пробуждать и контролировать свое воображение, учишься постигать ценности человеческие так, как их постигали великие писатели, установившие законы искусства и обогатившие их. Быть может, величайшая свобода художника как раз и состоит в том, чтобы владеть техникой своего ремесла, потому что тем самым он овладевает и смыслом своей жизни, способностью выразить этот смысл.

Здесь, наверно, стоит еще раз кратко наметить основные этапы пути, петляющего столь же причудливо, как мысль Джойса в «Поминках по Финнегану», того пути, который я пытался воссоздать, показывая, как писатель открывает свое назначение сделаться художником и со всею страстностью, какой это дело требует, отдается постижению техники своего ремесла, а потом, когда он чему-то научился, вдруг убеждается, что именно техника преобразует индивидуальность, прежде чем индивидуальность оказывается способной воздействовать на технику. А в процессе этого вот преобразования собственной личности он постигает

и кое-что еще: ему становится ясно, что он принял на себя определенные обязательства, что он не должен злоупотреблять формой, которую избрал, а чтобы такого не случилось, ему нужно развивать свой вкус. Он убеждается — и это как раз самое обезоруживающее из всего, что ему открылось, — в собственной причастности к такого рода ценностям, которые сопряжены с важнейшими проблемами страны и эпохи, однако обладают значением *самостоятельным*, а не зависящим от политики. Он видит, что американский роман с той самой минуты, как он себя осознал в качестве литературной формы, пытался постичь смысл опыта нашей страны, ощущая особый характер этого опыта и стараясь его определить путем проникновения в ритмы перемен, сопутствующих американской жизни, и в образах, доносящих ее особые штрихи и душевные состояния, и краски природы, и картины города. А еще он видит, что американский роман в лучших своих образцах донес всю напряженность жизни сознания и нравственного чувства, отличающую американцев изначально, поскольку это одно из последствий той революции, с которой мы и ведем историю своего национального существования.

Как нация мы начинались не со смешения рас, верований и традиций, родившихся под разными небесами (обо всем этом много пишет Роберт Пенн Уоррен), но с появления людей, среди которых были политики и философы, изложившие в документах, ныне почитаемых нами священными, свое представление о том, какую страну они хотят создать по этот берег Атлантики. Мы помним, что они сказали об обязанностях государства перед каждым своим гражданином и гражданина перед государством и вдохновлялись идеалами справедливости, думая о такой системе, которая обеспечила бы всем американцам равенство и возможности успеха.

Мне незачем говорить о том, сколько возникло трудностей после того начала. Я только напому, что противоречие между этими благородными идеалами и реальностями нашего существования породило чувство вины, ду-

ховное беспокойство, возникшее очень рано, и в лучших американских романах эти коренные проблемы морали всегда остаются важнейшими. Во времена Мелвилла, в эпоху Твена такие проблемы явственно выступали в самой тематике произведений, затем, после болезненного, травмирующего опыта Гражданской войны и Реконструкции они ушли вглубь, став тем *контекстом*, в котором возникала литература. Они никуда не исчезли, их можно обнаружить, вчитавшись в книги Генри Джеймса, как и в книги Хемингуэя или Фицджеральда. А вслед за тем — и для меня, верящего в обязательность морального назначения литературы и в ее нравственное призвание, предопределенное самой природой творчества, это бесконечно важно — такие проблемы снова стали центром повествования у Ричарда Райта, Уильяма Фолкнера, у писателей, живущих в гуще нравственных и политических коллизий, которые в их произведениях обозначаются самым непосредственным образом.

Я не стремлюсь в нескольких словах обрисовать историю американского романа, я только хочу указать направление мысли, преобладавшее в ту пору, когда я начал постигать природу процесса, к которому принадлежу и сам. Что бы по этому поводу ни было написано критиками, романист должен самостоятельно определить для себя сущность и назначение литературы, которой он себя посвятил, и я со всей необходимой скромностью попытался сейчас предложить свое понимание этих вопросов.

Чтобы полнее ощутить свое место в литературной традиции, я уяснил, что американский роман издавна привлекали такие конфликты, как противоречие между индивидуальностью и множеством, издавна интересовало, каким образом каждый из нас, несмотря на то что мы происходим из разных краев, принадлежим различным расовым, культурным, религиозным общностям, говорим на специфическом наречии и с особым акцентом, тем не менее остается американцем. А это ощущение многослойности, свойственной нашей стране, и многосоставности того идеального

характера, который мы именуем американцем, побуждало подвергать проверке на истинность сам ход американской жизни и ее соответствие нашей мечте, испытывать все эти представления фактами, о которых свидетельствовала повседневность.

Но при всем том оставались и заботы специфически литературные. А среди них — необходимость поддерживать литературные критерии на действительно высоком уровне и потребность все время искать новые возможности слова, так чтобы сохранялась та подвижность и гибкость стиля, та его верность обыденной речи, какая со времен Марка Твена составляла великое достоинство нашей прозы. Для меня задача состояла в том, чтобы обогатить язык прозы удивительными возможностями, которые скрыты в негритянской идиоматике и будничной речи, в том, чтобы, насколько я могу, полно и достоверно передать ту сложную реальность американского опыта, которая открывается в жизни моего народа и формирует эту жизнь.

Заметьте: насколько я могу, *полно* — ведь тот, кто попытался бы написать великий роман, игнорируя всю сложность обстоятельств, формирующих негритянский опыт и самой своей сложностью создающих возможность как-то переносить слишком очевидные несправедливости, был бы столь же безумен, как если бы он вознамерился сделаться президентом Соединенных Штатов, просто посвятив себя изучению истории американских негров или изучению законов, связанных с гражданскими правами.

Я никогда не ставил себе таких целей, потому что убежден, что, избрав для себя роман, я принял обязательство перед самим этим искусством, и оно заключается в том, чтобы стремиться к самому широкому охвату действительности, открывая и отстаивая самые возвышенные ценности. А эти ценности я должен постичь в том жизненном опыте, который знаю всего лучше. Очень сжато я попытался изложить, как себе представляю эту жизнь.

Может быть, кому-то все сказанное покажется несколь-

ко высокоумным, но не забывайте, что я по-прежнему сохраняю в своем имени среднюю часть, просто я ее сократил до инициала. И порой этот факт напоминает мне об обязательствах перед человеком, в чью честь меня назвали.

Нам всегда приходится от чего-то хорошего отказываться, чтобы достичь другого, тоже хорошего, и отбрасывать скверное лишь для того, чтобы опять создавать скверные обстоятельства. Поэтому писатель нужен и чтобы с максимально возможной достоверностью воссоздавать социальную реальность. Лишь таким способом сумеем мы понять и сделать понятной для всех ту цену, какую придется платить за каждое изменение. Лишь накопив как можно больше фактов и тщательно их осмыслив, сумеем мы сделать тот выбор, который будет оправдан нашим трудно доставшимся пониманием действительности. Вынося суждение как представитель совершенно определенного слоя американской культуры, я заключаю, что нельзя бездумно усваивать ценности, предлагаемые нам другими,— это значило бы отбросить состоятельность, если хотите, священность нашего собственного опыта. Это значило бы позабыть о том, что скромное постижение реальности, доступное каждой из многочисленных групп, составляющих нацию, принадлежит не одной этой группе, но нам всем, пытающимся по-своему постичь суть того хаотического мельтешения, какое являет собой история. Добытое нами свидетельство, наш дар постижения — та ценность, которую нельзя игнорировать, не ставя под угрозу бытие всей нации.

Я мог освободить себя от имени, которое получил при рождении, сделав это просто из уважения к человеку, носившему имя до меня, но я не вправе освобождаться от обязательства стремиться к тем целям, которые тот человек поставил перед американскими писателями. Как заметил Генри Джеймс, быть американцем — нелегкий удел, и мне кажется, для большинства из нас трудность начинается с самого имени, которое мы носим.

Содержание

- 5 *М. Ландор. Рассказы долгого дыхания*
- 14 *Лечу домой. Перевод В. Харитонова*
- 34 *Король американского лото. Перевод В. Бошняка*
- 46 *Баталия. Перевод В. Голышева*
- 63 *Из больничной палаты — в подвалы пивной.
Перевод Л. Беспаловой*
- 119 *Мистер Туссан. Перевод М. Митиной*
- 128 *Вам никогда не снились счастливые сны?
Перевод И. Бернштейн*
- 144 *Парочка краснокожих, с которых сняли скальп.
Перевод В. Орла*
- 158 *Крышу поднимешь — увидишь людей.
Перевод А. Сергеева*
- 172 *Радостные дни июня. Перевод А. Сергеева*
- 187 *Вот такие дела. Перевод Д. Аграчева*
- 196 *Скрытое имя, нелегкий удел. Перевод А. Зверева*

Эллисон Р.

Э46 Король американского лото: Рассказы/
Пер. с англ. Сост. и предисл. М. Ландора.—
М.: Известия, 1985.—224 с. (Библиотека
журнала «Иностранная литература»)

Талантливое свидетельство о послевоенной «черной» Америке, рассказы Ральфа Эллисона, написанные в 40—60-е годы, не утратили актуальности в наши дни. Запечатлевая трагедию своего народа, писатель верит в его неисчерпаемые духовные силы.

Э $\frac{4703000000-104}{074(02)-85}$ 93—85

**ББК 84.7 США
И(Амер)**

**РАЛЬФ ЭЛЛИСОН
КОРОЛЬ АМЕРИКАНСКОГО ЛОТО**

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *Т. Иванова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 935

Сдано в набор 31.01.85. Подписано в печать 07.05.85. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,10. Усл. кр.-отт. 18,5. Уч.-изд. л. 10,98. Тираж 50 000 экз. Зак. № 113. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.



Ральф Эллисон

(родился в 1914 году) — одна из ведущих фигур в современной литературе США, крупнейший романист-негр. Мировую известность принес ему роман "Невидимка" (1952) —

о жестоких испытаниях, ждавших чернокожего интеллигента на Юге и Севере страны, о всем его тяжком уделе. Самобытный талант автора был поддержан Фолкнером. Эллисон признан и как мастер малого жанра.

Его емкие вещи, исполненные трагизма — "Лечу домой", "Король американского лото", "Баталия", — стали хрестоматийными в прямом смысле слова: они перепечатаются во многих антологиях американского рассказа. У его малой формы широкий диапазон; известна тоюкая поэзия его рассказов о детстве.

Добираясь до глубин негритянской жизни, Эллисон касается и болевых точек сегодняшней Америки, с ее механизмами духовного угнетения и манипулирования личностью. Это особенно ощутимо в его повести-притче, полной живого движения и мрачного юмора, — "Из больничной палаты — в подвалы пивной".